Захар Оскотский

ЗИМНИЙ СКОРЫЙ

Захар Григорьевич Оскотский

Зимний скорый. Хроника советской эпохи

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6985614
Зимний скорый. Хроника советской эпохи. / Оскотский З. Г.: БХВ-Петербург; Санкт-Петербург; 2014
ISBN 978-5-9775-3296-9

Аннотация

Эта книга – своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности. В романе «Зимний скорый. Хроника советской эпохи» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять настоящее и осознанно действовать ради будущего.

Для широкого круга читателей.

Содержание

К читателям 4
Зимний скорый. Хроника советской эпохи 6
Конец ознакомительного фрагмента. 77

Захар Оскотский
Зимний скорый. Хроника советской эпохи

К читателям

Захара Оскотского современные читатели знают главным образом как историка, публициста, футуролога и автора остросюжетных романов-антиутопий. Но ведь прежде всего он писатель-прозаик, реалист. В 1980-е – начале 1990-х его рассказы публиковались в сборниках ленинградских писателей и в одном из лучших литературных журналов того времени – «Неве» главного редактора Бориса Никольского.

Именно в 1980-х Захар Оскотский начал работу и над этой книгой – романом «Зимний скорый». Но писал он его более 20 лет. Так случилось потому, что безвременье, в которое ныне провалилась Россия, утрата нашим обществом перспективы не могли оставить писателя равнодушным. И он периодически откладывал, порой на годы, незаконченный роман, чтобы написать произведения, в которых откликался на текущие проблемы.

Так появилась его «Гуманная пуля» – книга о влиянии научно-технического прогресса на ход истории, о цели науки, о ее роли в главных событиях XX века и в грядущих событиях XXI века. Некоторые мысли, высказанные в «Гуманной пуле», – о демографическом переходе, как основной причине мировой нестабильности, о бессмертии, как цели научно-технического прогресса, и другие – лишь теперь начинают входить в общественное сознание.

Ближние прогнозы «Гуманной пули» о развитии мировых и российских событий стали сбываться вскоре после выхода в свет ее первого издания (оно появилось в начале 2001 года). А десятилетие спустя мы видим, как растет вероятность того, что сбудутся и ее дальние прогнозы: о путях разрешения конфликта между Западом и Югом; о том, что успехи науки по продлению человеческой жизни ведут к главному кризису цивилизации, угрожающему самому ее существованию.

Чтобы донести некоторые мысли из «Гуманной пули» до более широкого круга читателей, Захар Оскотский в 2000–2004 годах написал остросюжетную антиутопию – роман «Последняя башня Трои», действие которого происходит в конце XXI века. Критик Ольга Костюкова из журнала «Профиль» писала, что «Последняя башня Трои» может встать в один ряд с антиутопиями Оруэлла и Войновича, а критик Сергей Некрасов из журнала научной фантастики «Если» отвел этому роману место рядом с произведениями Уэллса, Лема и Стругацких.

Недавно вышел еще один роман-антиутопия Захара Оскотского «Утренний, розовый век. Россия-2024». В отличие от «Последней башни Трои», он написан с минимальным использованием элементов фантастики, тяготеет к психологическому реализму. Даже тогда, когда дело доходит до немыслимой фантасмагории, в нее героя вместе со всей страной заносит потоком вполне возможных для нас событий. Роман убедительно показывает, какое будущее ждет Россию без интеллигенции, без собственной науки и промышленности.

В последние годы выходили также исторические очерки, эссе и публицистические статьи Захара Оскотского, которые предлагают нестандартный, идущий вразрез со многими традиционными мифами, взгляд на ключевые моменты истории и современной политики.

И вот сейчас выходит – сразу в двух вариантах, типографском и электронном, – роман «Зимний скорый. Хроника советской эпохи». Эта книга – своего рода реквием поколению, родившемуся после войны, последнему многочисленному и самому образованному советскому поколению. Его талант и энергия могли преобразовать страну, обогатить ее, поднять на уровень самой передовой державы мира. Но бюрократическая система не позволила этому поколению реализовать свои возможности, и следствием стало то, что случилось с нашей страной теперь.

Некоторым читателям, особенно молодым, которые привыкли не искать в жизни смысла иного, чем добывание материальных благ, характеры и поведение героев книги могут порой показаться наивными. Но ведь то была мудрая наивность! Если не бояться высоких слов, можно сказать, что так проявлялся инстинкт самосохранения нашего народа.

«Зимний скорый», казалось бы, можно отнести к историческому жанру, поскольку его персонажи действуют среди точно воспроизведенных реалий 1950-х – 1980-х, а главный герой еще и пишет новеллу о событиях XVII века, на примере которых пытается исследовать непреходящие проблемы человеческой жизни. Но в действительности этот роман обращен не столько в минувшее, сколько в современность и будущее.

Многие наши сегодняшние проблемы коренятся в недавнем прошлом, происходят от того, что мы не помним уроков недавних времен.

Интерес к советской жизни сейчас очень велик, появляется множество книг, претендующих на то, чтобы их считали историческими исследованиями, выходят романы, фильмы, телесериалы. К сожалению, многие, слишком многие из них относятся к жанру «развесистой клюквы», а зачастую – являются прямым искажением правды, которое, возможно, не случайно. Вспоминается Оруэлл: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. А кто управляет прошлым, управляет будущим».

В романе «Зимний скорый» читатель найдет ту правду о недавнем времени, которая поможет лучше понять настоящее и осознанно действовать ради будущего. Как писал Леонид Андреев: «Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти».

Не стану здесь подробно обсуждать литературное мастерство Захара Оскотского. Скажу только, что «Зимний скорый», при всей легкости и увлекательности чтения, – это напряженная, глубокая психологическая проза, которая так редко сейчас появляется. И читатель, который любит настоящую литературу, сам убедится в этом.

Ирина Борисова, литератор

Зимний скорый. Хроника советской эпохи

– ...Я не разбираюсь в религиях и, может быть, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала когда-нибудь вера в бога слабого, бога-неудачника?

– Подобной религии я не знаю. Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге, который развивается во времени, возносясь на всё более высокий уровень могущества, дорастая до сознания собственного бессилия? Но ведь отчаявшийся бог – это же человек, дорогой мой! Ты имеешь в виду человека…

Станислав Лем

1

Аэропорт днем, Пулковский аэропорт, нарочито современный, тянущийся к небу прозрачными космическими башенками, сверкающий внутри мрамором, стеклом, никелем, заполненный шумной текучей толпой, вязнущей сгустками у касс и киосков, этот дневной аэропорт не нравился Григорьеву. Было в нем нечто от ресторана. Может быть, сходство усиливали ряды ящиков с цветочными горшками. Но к вечеру, к ночи, когда темнело за высокими стеклянными стенами, аэропорт становился другим. В искусственном бело-голубом свете мраморные полы обретали блеск и глубину, словно отражали ночное небо. Ярче разгорались на табло красноватые огоньки надписей с номерами и названиями рейсов. Толпа становилась медлительней, тише, и как будто от этого слышней доносился гром двигателей – то недвижный на летном поле, то накатывающийся с неба.

В командировках Григорьев избегал ездить, почти всегда летал. Приверженность его авиации доходила, быть может, до чудачеств: от областных центров, куда приносили его рейсовые «Ту», к цели своей, к маленьким городам с большими заводами, не желал он добираться как все люди – за три-четыре часа в мягком автобусе. А добирался тоже по воздуху – валким, грохочущим, продутым бензиновыми сквозняками, выматывающим за час полета душу и печенки бипланчиком «Ан-2». Когда же осенью и весной пассажирские аэродромы в маленьких городах – поля с подстриженной травкой – закрывались, размокшие от дождей, он томился с книгой, вдавленный в кресло «Икаруса-экспресса». И не времени было жаль ему, а иного, того, что мог дать только полет. Пусть даже «аннушкин», птичий, проваливающийся.

Он скрывал бы свою чудную страсть, но за командировки приходилось отчитываться в бухгалтерии, его выдавали билеты, над ним посмеивались. «Печоринство! – сказала однажды Аля со злости. – Ты просто подсознательно надеешься когда-нибудь разбиться!» Григорьев разбиваться не собирался, но фразу взял себе, да так и отвечал с тех пор на глупые вопросы и шуточки. От него отставали.

Вот и сегодня, снова, был Пулковский аэропорт вечером, сухим и теплым октябрьским вечером 1984 года. Григорьев уже прошел регистрацию, получил посадочный талон. И домой позвонил. Трубку отец взял сам. Сказал, что лежит, читает. Болей нет. Может быть, завтра выйдут с матерью на улицу. Значит, можно лететь…

До объявления посадки оставалось минут сорок. Григорьев прохаживался взад-вперед, пробегая взглядом по лицам: сейчас должна была появиться Аля. Каждый раз, улетая, про-

сил ее, чтобы не провожала, но она появлялась всегда, даже тогда, когда обещала, что не появится.

Несколько шагов туда, вдоль стеклянной стены, потом – обратно. На улице уже стемнело. Разворачиваясь, увидел свое отражение в стекле. Вот он – Евгений Григорьев, собственной персоной. Выглядит, пожалуй, старше своих тридцати семи: не столько высок, сколько кажется высоким от худощавости; большая, не по узким плечам голова; глаза – большие, но слишком широко расставлены, и вид от этого не то настороженный, не то удивленный. А волосы уже редеют, над выпуклым лбом – залысины буквой «М». Впрочем, он выглядел так уже давно, лет десять не менялся. Наступило «состояние стабильности», как он это называл. Аля была моложе его на тринадцать лет. Плохая, никудышная цифра… Состояние стабильности продлится, должно быть, еще лет пять-семь, возможно, десять, а потом он начнет стареть – сразу, быстро. Григорьев отвернулся от стекла. Думать о старости он избегал, а внешность его мало заботила.

В состоянии стабильности жизнь не приносит неожиданностей. Она делится на куски, блоки, и в начале каждого блока видишь его до конца, а там уже просвечивает следующий. Сейчас будет обычное перед расставаньем объяснение с Алей. (Плохо, что опять не выспался. Голова тяжелая, болят виски, не сумеет с нужной легкостью парировать ее уколы.) Потом будет ночной полет: голубоватый полусвет в салоне, сквозняки от вентиляции. Словно в затылке будут постанывать и клокотать хвостовые турбины, перемалывая разреженный воздух стратосферы. Будет казаться, что лайнер не летит, а медленно плывет по темному, вязкому морю, слегка содрогаясь от ударов брюхом о гребешки волн.

Он летел в свой привычный мир – маленьких городов и больших заводов. Через несколько часов лайнер начнет мягко проваливаться, отдавая высоту, и сойдет Григорьев с трапа уже далеко отсюда – в Сибири. Бетонные пластыри аэродромов сдавили землю, пространство стянулось, прошитое иглами самолетов. Словно из двери в дверь, переходил он через тысячи километров из одного цеха или кабинета в другой, как будто соседний цех или кабинет, и ничто не изменялось: те же стены в бледно-зеленой эмалевой окраске, тот же обнаженный, тусклый металл станков. Крыльчатки вентиляторов, беззвучные в цеховом гуле, так же перемалывали сладковатый запах машинной осалки с резью растворителей и свежим канифольным дымком пайки. Да и люди, населявшие мир дальних заводов, – мастера, технологи, он сам вместе с ними, – какими бы разными ни были, оказывались схожими в одинаковых рабочих халатах, при свете цеховых ламп, который и в самой яркости кажется бледным, от которого лица видятся темными – не загорелыми, а словно накрытыми синеватой тенью.

Еще несколько шагов вдоль стеклянной стены: туда, затем – обратно. Хотелось курить, но для этого надо было выйти на внешнюю галерею, а он боялся пропустить Алю. Она бы такого не простила.

У окошечек регистрации скапливались двойные очереди – людей и вещей: чемоданы, узлы, рюкзаки, картонные короба, перехваченные веревками и ремнями, окаймляли барьерами людские цепочки и в бело-голубом свете, в недальних раскатах двигателей тоже казались живыми, нервно-напряженными в ожидании взлета.

Григорьев перебросил из руки в руку свой нетяжелый портфель. Слава богу, у него никогда не было забот с багажом: зубная щетка, бритва, смена белья, да в папке со служебными документами – несколько листов начатой рукописи. Когда теперь он ею займется? Блоки следующих дней просвечивают насквозь, до темной усталости в конце каждого. С утра – проталкивать по кабинетам заводоуправления бумаги на опытную партию приборов: решение, техпроцесс, программу испытаний. В вечерние смены, когда свободнее в цехах, – подбирать и налаживать оснастку. Это потом, если пойдет, раскрутится работа, сможет он вечерами разложить свои листы. Да если еще в заводской гостинице удачно поселят: в

отдельный номер или хоть с хорошими соседями. Такими, что лишний раз не пристанут с разговорами и не будут, любопытствуя, заглядывать через плечо.

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Али – не было. Вспомнил, как позавчера вытащил из почтового ящика конверт со штампом редакции – вернули «Белёсый свет». Казалось, уж к чему, а к отказам он привык, ничем его не задеть, неуязвим. А тут вдруг ударило – больно и унизительно, словно изловчились его лягнуть ниже пояса.

Конечно, ни одно стихотворение, ни один рассказ не писал он так долго, как эту сотню нерифмованных строчек. Лет десять, с семьдесят четвертого. А в сущности, все двадцать с лишним лет после дней «белёсого света». То откладывал на время, то вновь начинал шлифовать, подбирать строку к строке – где вспомнится вдруг и схватит дыхание: в гуле и болтанке самолетов, в ночных номерах гостиниц под храп соседей.

Двадцать с лишним лет… У него была хорошая память. Не бог весть, какой дар природы. Но есть иллюзия могущества над временем, когда прошлое видится, как в перевернутом бинокле, – отдаленно, но резко, в красках, обостренных оптикой завершенности.

Стоял октябрь, безветренный, сухой.
Угли опавших листьев, как огонь,
Сквозь землю проступавший, раскаляли
Газоны скверов, камни в переулках…

Так начинался «Белёсый свет». А стоял тогда октябрь 1962 года. Наполз, надвинулся и встал над миром. Конец октября. Карибский кризис. Радио задыхалось. Морская блокада Кубы. В повышенную боеготовность приведены американские и советские стратегические силы. Прерывая передачи, дикторы незнакомыми голосами читали послания Хрущева к Кеннеди. Россия звала к примирению. Потом объявили о высшей боеготовности.

В школе всё было почти как всегда. Только лица учителей стали напряженнее и голоса тише. Только сами они, подростки с едва пробившимися усиками, успевшие чуть-чуть набрать старшеклассной солидности и снисходительности ко всему, что моложе и старше их неполных шестнадцати лет, собираясь вместе, впадали в какое-то неестественное возбуждение. Они с трудом высиживали урок, а на переменах, говоря о войне, вышучивали над ней, смеялись, шумели и выкрикивались, точно второклассники, до изнеможения. И не останавливали их педагоги, лишь наблюдали издали…

А после занятий Григорьев выходил в странный город. Это был как будто его Ленинград в осеннюю пору красок, когда петербургские дома, налитые светло-серым и розоватым каменным теплом и подсвеченные красно-желтыми листьями, резче проступают сквозь черные деревья скверов. Буднично катились потоки машин. Громыхали, покачиваясь, красно-белые угловатые старички-трамваи со сдвижными, вечно не закрывающимися деревянными дверями, пережившие войну и блокаду, родные для мальчишки-ленинградца. Но Григорьев ощущал движения и шум города странно замедленными, словно всё двигалось затрудненно в невидимом силовом поле напряжения и тревоги. Ветра не было. Разреженным казался воздух, неспособный сгуститься, защитить от атомных метеоритов, и в нем трудно было дышать.

Он почти не испытывал страха – в шестнадцать лет смерти не боятся. Мучило неясное, то, что он начал осознавать много спустя: если для ребенка мир всегда устроен разумно, а взросление – познание неразумности мира, то не было в его жизни других дней столь быстрого и болезненного повзросления.

Дети первых послевоенных лет рождения, дети чудом уцелевших отцов и прошедших блокаду и эвакуацию матерей, они ощущали себя особенным поколением. Когда это впиталось в их души? Должно быть, с малолетства, из кухонного чада переполненных коммунальных квартир, где в каждой комнате улыбались с нерезко увеличенных фотографий молодые лица – убитых на фронте, умерших с голода в блокаду. Пяти-шестилетние, они уже чувствовали за собой черный провал времени и сознавали, что растут на краю обрыва первыми росточками.

Кинофильмы и песни, безногие инвалиды, яростно прокатывавшиеся по улицам на гремучих тележках с подшипниками-колесиками, фронтовые вещи отца (брезентовая плащ-палатка, солдатский ремень, сапоги), портреты усыпанных орденами маршалов в альманахах «Круглый год» – всё дышало медленно остывающим жаром войны. И они, малыши, торопливо переживали войну в своих играх. Накрытые толем поленницы в темноватых дворах-колодцах с неизбывным запахом помойки были их окопами и дотами. Ленинград жил еще на печном отоплении, поленниц хватало. Они обороняли их и штурмовали, отчаянные бойцы – в синяках, занозах, древесной трухе. Война представлялась им такой, какую они видели в «Падении Берлина»: веселые солдаты бегут в атаку, выставив автоматы с круглыми дисками.

Тогда, в начале пятидесятых, в центре города стояло почему-то много войск, и мимо их домов – по проспекту Майорова, через Исаакиевскую площадь – часто проходили колонны солдат. Странно, должно быть, они выглядели – вооруженные, в защитных гимнастерках и пилотках, на выметенном дворниками асфальте среди витрин «Гастрономов» с пирамидами разноцветных консервных банок и витрин «Ленодежды», где, растопырив руки, стыли манекены в длиннополых пиджаках и длинных платьях. Но для детей всё было естественным. Они с тротуаров жадно разглядывали оружие. Автоматы с прикладами и дисками считались у них «нашими», а складные, с узкими рожками магазинов – «немецкими». Им казалось, что солдаты эти идут из войны, и на груди у них в самом деле захваченные у фашистов автоматы.

С утра до вечера в их комнатах говорило, играло, пело радио. Дикторы и артисты, сменяя друг друга, рассказывали о великих стройках коммунизма – Волго-Доне и Каракумском канале. Плескались волны в радиопостановках – волны вокруг нового мыса Тахиаташ в пустынных песках. Каждый день торжественно сообщали, как в разных странах множит ряды могучее Движение сторонников мира. Гремели хоры: «Мы сильны, берегись, поджигатель войны!» и «Песню дружбы запевает молодежь!» И были любимые, неделями ожидаемые передачи с позывными-песенками. Галочка, Дедушка и Боря пели: «Угадайка, Угадайка, интересная игра!.. Кто загадки любит, тот нас и услышит! Кто их отгадает, тот нам и напишет!» И герои «Клуба знаменитых капитанов» пели: «В шорохе мышином, в скрипе половиц медленно и чинно сходим со страниц…»

В детском саду они учили стихи о «светлой сталинской эре» и стихи, проклинавшие Трумэна. С уличных плакатов скалил на них волчьи клыки звероподобный Дядя Сэм: с окровавленным кинжалом в одной руке и голубым флажком с надписью «ООН» в другой, он набрасывался на маленькую Корею. За поясом у него торчала черная бомба с белой буквой «А».

Впрочем, их еще не слишком задевали мировые тревоги. Они читали добрые книжки – «Лесную газету», «Что я видел». Их группы водили гулять в Александровский сад к Адмиралтейству. Летящий Медный всадник, Нева, поднебесная громада Исаакиевского собора с золотым куполом были для них домашними. Весь город тех лет – с малолюдством площадей, редким автомобильным движением, с вывесками магазинчиков и мастерских в первых этажах и над полуподвалами царственных зданий – «Овощи», «Хозтовары», «Фото», «Ремонт обуви» – был уютным, своим.

А каким счастьем были семейные праздники! Гости приносили свои пластинки к хозяйскому патефону. Из никелированной головки с толстой стальной иголкой, покачивавшейся на черном диске, звучали то приторно-нежный голосок Бунчикова, то смешливый – Шульженко. На стол подавали в разномастных тарелках довоенных сервизов винегрет и картошку с селедкой. А главное, для них, для малышей, – ставили бутылки лимонада. Ах, этот лимонад, «Крем-сода» и «Лимонный», острошипучий, обжигающе-сладкий! До старости не забыть его вкус. Куда он исчез потом?..

В «Детском мире» на Садовой, где на лестничных площадках висели громадные фотографии Сталина и Горького в окружении детей, и в «Магазине новинок» на Невском выставляли удивительные игрушки: автомобильчики «ЗИМ», управляемые гибким тросиком, электрическую железную дорогу с бегущими вагончиками и горящими светофорами. Не продавали, – кто же их купит за двести, за триста рублей! – а именно выставляли, чтобы они могли посмотреть. И они – смотрели.

Потом в их детство вплыл трагический голос Левитана: «Великое горе для всего советского народа!..» Рев гудков над крышами колеблющихся зданий, смятенные лица, слезы. Казалось, время останавливается.

Но – не остановилось. Переплеснуло черные жирные рамки в газетах и полилось живым потоком дальше. Из репродукторов зазвенели новые песни: «Вьется дорога длинная! Здравствуй, земля целинная!» Они пошли в первый класс в пятьдесят четвертом, когда мужские школы объединили с женскими. И с учебой началось главное:

Всё то, что мы впервые узнавали,
Впервые с нами вместе узнавая,
Страна переживала. Мы как будто
Взрослели вровень с ней…

А переживалось – необыкновенное! Первоклашками в чистенькой форме, постукивая вставочками в чернильницы, они переписали с доски в свою первую тетрадку главные слова: «Родина», «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Виссарионович Сталин». А второклассниками они видели, как школьный завхоз Иван Николаевич, хмурясь, подхватывая рамы искалеченной рукой в черной перчатке, сносил из классов по лестнице портреты Сталина и составлял у подвальной кладовки лицом к стене. На изнанке одного портрета кто-то из них успел уже мелом написать «дурак». Иван Николаевич здоровой рукой яростно стер надпись, размазав по бурому холсту пятно меловой пыли, и побежал за следующим портретом.

Впрочем, они еще смутно понимали смысл событий. Их захватывало другое – технические чудеса. Первым знаком времени стали для них реактивные истребители. Когда на уроках рисования задавали изобразить самолет, они пытались вычертить волновавший их воображение контур: короткая, обрубленная спереди сигара фюзеляжа, колпак кабины, узкие, откинутые назад крылья и высокий, скошенный хвост. В самих засекреченных названиях – «МИГ-15», «МИГ-17», – которые они, конечно, знали, им слышались отзвуки новых, необыкновенных скоростей и высот.

Реактивные «МИГи» были символом мощи страны на газетных фотографиях и плакатах. Они видели их в кино – раз за разом взлетающими с аэродрома в заставках киножурналов. Видели кувыркающимися в высшем пилотаже в фильме «Звезды на крыльях» с ослепительным молодым летчиком – артистом Тихоновым (сколько раз крутили тот фильм в затемненных дощатых столовках пионерских лагерей!). Они видели их наяву над теми же лагерями. Много «МИГов» летало тогда вокруг Ленинграда – над Финским заливом, над рощами Карельского перешейка. В одиночку, парами и четверками, то высоко, то совсем низко над детскими головами, так что можно было разглядеть прозрачную капельку кабины

впереди и перышки рулей на хвосте, неслись серебряные стрелы, выпущенные в облака. Небо дрожало, воздух за ними обрушивался пластами свистящего грохота, и земля уходила из-под ног.

В городе открылось метро. В первое же воскресенье чуть не все три миллиона ленинградцев и, конечно, они вместе с родителями – ринулись под землю. Вываливались из битком набитых вагонов на очередной станции, бродили по ней в толпе, жадно осматривали, восхищались и снова втискивались в поезд – доехать до следующей. Детей и взрослых объединило ощущение драгоценного подарка, чуда. Цепочка подземных дворцов казалась ожерельем из разноцветных сверкающих бусин, нанизанных на пульсирующую огнями жилку тоннеля. И всё теперь принадлежало им – полированный гранит, белый и голубоватый дымчатый мрамор, хрусталь и рубиновое стекло, бронза и зеркальный никель украшений. А ведь открылась только первая линия! Сколько же еще дворцов засияет под всем городом, пока они вырастут!

В их жизни стали появляться телевизоры: экранчики с открытку и перед ними – стеклянные подушки-линзы, налитые водой, а лучше, говорили, глицерином. Передачи шли с семи до десяти вечера, шесть раз в неделю. В комнату к соседу, первым купившему телевизор, собирались все, кто не был с ним в кухонной ссоре. Показывали кинохронику, научно-популярные передачи, кинофильмы. Художественных было немного, часто повторяли одни и те же. Почему-то особенно любили телевизионщики жуткую кинокартину «Серебристая пыль» о поджигателях бактериологической войны. Ее крутили чуть не каждый месяц.

Улыбались с экранчика два самых знаменитых в Ленинграде человека, ведущие телестудии: Николай Зименко, стройный, элегантный, с седыми висками, и полненькая, смешливая Зинаида Зубова. Программу они объявляли, как конферансье, стоя на фоне нарисованного театрального занавеса. К ним относились, как к всеобщим приятелям. Однажды вечером Зименко объявил: «А сейчас вы увидите кинокартину "Золотистая пыль"!» Взрослые и дети перед телевизором хором завопили: «Серебристая, дядя Коля!» Зименко, точно услыхав их на экранчике, поморщился, засмеялся, махнул рукой: «Серебристая… пыль»! И все добродушно, даже с благодарностью посмеивались над ошибкой своего любимца. А симпатичные ямочки на щеках Зубовой умиляли всех, особенно почему-то женщин.

Восьми-девятилетние мальчишки, они больше всего любили научно-популярные передачи и кинохронику. Зеленоватый экранчик, сам чудо, светился окошечком в ожидающий их мир. Они видели строительство гигантских электростанций в тайге, круглые палатки ученых на станции «Северный полюс», китобойные флотилии в штормовом океане, толпы пингвинов, расступавшихся перед тракторами антарктической экспедиции.

Время напоминало о себе: вдруг жутко взглядывало с экранчика дуло атомной пушки. Восьмимоторные бомбардировщики с белыми звездами плыли в разреженной высоте вдоль наших границ, их громадные крылья прогибались от тяжести фюзеляжей, нагруженных водородными бомбами. Над тихоокеанскими пальмами с громом поднимался в небо клубящийся огненный гриб. Пожилой человек в старомодном котелке смеялся, открывая большие зубы. Голос диктора сурово спрашивал: «Вы довольны, мистер Даллес?..» И вновь под спокойную музыку научно-популярного фильма бегали по рисунку мультипликационные стрелочки, объясняя устройство советской, мирной атомной электростанции.

Им попадались еще в библиотеках угрюмые книжки недавних лет с названиями вроде «Рассказы о русском первенстве», с паровозиком Черепановых, воздушным шаром Крякутного и самолетом Можайского на обложке. С непонятной им, детям, но даже для них ощутимой злобой, страницы твердили, что все, все, все великие изобретения сделаны в России, а если забыты, так потому, что тупое царское правительство не оценило, а коварные иностранцы выкрали и выдали за свое. Но вот на экранчике появлялся действительно первый в мире советский атомный ледокол «Ленин» на стапеле. Взлетал в небо действительно

необыкновенный самолет – «Ту-104». И в живых голосах дикторов, рассказывавших, как мы обогнали всех капиталистов, звучала не злоба, а веселая уверенность.

Смеялись на экранчике обнявшиеся советские и иностранные спортсмены, победители олимпиад в Кортина д'Ампеццо и Мельбурне. Двигались поющие колонны Московского молодежного фестиваля. Стремительно расширялся мир.

Часто показывали запуски ракет – маленьких настоящих и громадных в фантастических фильмах. Они впервые услышали о Циолковском и межпланетных полетах.

Они много читали (полны, богаты были библиотеки). Больше всего, с жадностью – фантастику. Жюль Верн, Беляев, Ефремов, Уэллс разжигали мальчишеское воображение. А были еще приключения – Майн Рид, Конан Дойль, Хаггард, Буссенар. Почти все книги, особенно иностранных писателей, изданы были только что: в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом. (Через много лет вспомнится и запоздало изумит: как их успевали печатать?)

Каждая новая фантастическая книжка протекала сквозь всю мальчишескую массу мгновенно, как вода сквозь песок. «Двести двадцать дней на звездолете» – там наши пилоты раньше американцев высаживались на Марсе. «Тайна астероида 117-03» – там советские ученые вступали в космосе в схватку с «луианами», пришельцами с другой звезды, во всем похожими на людей, но с руками без суставов, точно толстые гибкие щупальца.

А в киосках «Союзпечати» продавали восхитительные копеечные брошюрки, в ярких обложках, с понятными чертежами и рисунками: «Как устроен реактивный самолет», «Что такое Вселенная», «Энергия атома». Чуть не каждую неделю появлялись новые. Их раскупали мигом. Словно вся страна, жившая в тесноте и бедности, тяжко отрабатывавшая шестидневные сорокавосьмичасовые недели, тянулась к тем брошюркам-букварям – познакомиться с новым веком, что вот-вот наступит и, глядишь, принесет новую жизнь.

Они-то, мальчишки, не сознавали бедности и тесноты. Для них реальность еще смешивалась с цветной иллюзией любимых кинокомедий, вроде «Карнавальной ночи» или «Девушки без адреса». Хотя деньги на брошюрки он стеснялся просить у родителей, копил по гривеннику от школьных завтраков. Отец, узнавая, гремел: «Опять постился, дурень! Дам я тебе рубль на эту дребедень, только голодным не ходи! Как будто понимаешь в них что-то!» И пролистывал, хмурясь и усмехаясь, странички с чертежиками.

Отец казался ему пожилым. Теперь только видно сквозь время, как был молод, – еще сорока не стукнуло, ровесник ему нынешнему. С работы отец приходил до того усталый, что даже отвечал с трудом. Но, поужинав, отдышавшись, понемногу становился привычным – громкоголосым, иногда впоказную сердитым, веселым, любимым. Должность его – «старший мастер» – звучала почетным званием.

Запуска первых спутников они, десятилетние, ожидали, и тем сильнее был взрыв ликования. Перелившись из книг и фильмов в голос Левитана, в газетные фотографии, всё оказалось еще чудесней! Всё шло еще стремительней, чем они мечтали! Первый спутник весил восемьдесят килограммов, второй, через месяц, – уже пятьсот, третий, через полгода, – почти полторы тонны. Еще через год советская ракета облетела Луну, и они вырезали из газет – сохранить, навсегда! – карту впервые заснятой обратной стороны.

Первенство наше в космосе было для них естественным. Их смешили карикатуры, где тощий американец в мятой фуражке забрасывал вслед советским тяжеловесам свой жалкий спутник величиной с апельсин.

В тех же газетах печатали карикатуры и на своих стиляг с начесанными громадными коками волос, в брюках-дудочках, узких словно макаронины. В жизни им такие не встречались, но всё равно было смешно. И от старшеклассников спускались к ним нелепые, дразнящие песенки:

Раз стилягу хоронили,

Семь чувих за гробом шли.
На могиле саксы выли,
Рок ломали до зари…

Как раз в том возрасте, в двенадцать-тринадцать лет, они начали осознавать свой Ленинград. В каменной стройности города впервые уловили напряженное движение. Ощутили стремительность главных улиц, выносящих к Неве, туда, где, виденный много раз, их наконец поразил простор воды и неба в обрамлении набережных. Где с течением волн и полетом облаков стройно плыли по берегам дома и дворцы, колонны, шпили, купола, плыли острова и мосты. Столица России молодой, продвинутая на самый край державы, чтоб увлечь ее за собою, двигалась сквозь время, не старея.

Они полюбили бродить по городу, изучать, словно путешественники, его районы. А каждый район был страной, непохожей на соседние. Башенки и скверики Петроградской стороны теснились уютно и приветливо. В резковатых контурах василеостровских линий сквозило их родство с корабельными конструкциями. Московский проспект, удаляясь от центра, всё выше тянулся в небо угловатыми громадами «сталинских» домов-дворцов.

Для них настала пора музеев. Вначале, конечно, был Военно-морской. Сколько раз приезжали они на ветреную Стрелку Васильевского острова, форштевнем рассекающую течение Невы, проходили мимо Ростральных колонн, похожих на облепленные надстройками и мостиками мачты линкора, и, волнуясь, вступали в глубины дворца, странно называемого «Биржей»!

Им открывался громадный зал Русского флота с ботиком Петра и великанскими, с яхту величиной, моделями стопушечных линейных кораблей в многоярусных парусах из белого блестящего шелка. Черно-лаковые цусимские броненосцы и серо-голубые крейсера в стеклянных ящиках поражали точностью мелких деталей, золотым блеском латунных гребных винтов.

А потом они полюбили каменную прохладу длинных залов Артиллерийского музея: бесконечные ряды орудий, витрины с оружием вдоль стен, волнующая тусклая гладкость боевой стали.

В этих музеях история ощущалась нарастающей мелодией: вначале – славная, хоть и несколько неуклюжая, допетровская старина, а дальше, от основания Петербурга, – через яркий восемнадцатый век, через паровой и железный девятнадцатый – к революционной буре. И тут время в залах начинало растягиваться: героическая эпоха Гражданской войны, радостное двадцатилетие мирного строительства с двадцать первого по сороковой, черная гроза войны, алая, в знаменах, Победа. И, наконец, светлые – буквально самые светлые, точно для них подобрали помещения с окнами побольше, – «послевоенные» залы. Модельки серебристых «МИГов» под потолком, таинственные, без поясняющих табличек, длинные тела ракет, фотографии обломков сбитого самолета-шпиона «У-2» и его летчика Пауэрса. И, конечно, большие фотографии спутников.

В дни майских и ноябрьских праздников в Неву входили боевые корабли. Вытянутый, легкий, с изящно скошенными трубами крейсер «Киров», легендарный защитник блокадного Ленинграда, словно явившийся из «военных» залов музея. И высокобортный, тяжелый, в какой-то особенно светлой голубой окраске, крейсер «Свердлов» – из «послевоенного» зала. И оттуда же – овальные рыбьи тела новых подводных лодок. Они стояли вдоль невских набережных, украшенные гирляндами разноцветных флажков, торжественные, гордые, трогательно свои.

А эпоха, казалось, становится старше вместе с ними и мощно распахивает новое, как только они способны его воспринять. Им было по четырнадцать-пятнадцать в шестьдесят

первом. Весь тот год ликующе звучал по радио Первый концерт Чайковского. Взлет человека в космос и Двадцать второй съезд слились с его аккордами.

Мальчишеские души были потрясены рассказом Хрущева о культе личности. Они, подростки, кое-что знали о Двадцатом съезде, но он казался им далеким прошлым, а с тех пор имени Сталина они почти не слыхали. И вдруг, с трибуны нового съезда, не в секретном докладе, а открыто, уже на весь мир – что-то непредставимое, прожигающее. Как убивали невиновных, слепо веривших. Как Якир на расстреле крикнул: «Да здравствует Сталин!..» На мосту времени точно ветром сметало позади пестрые гирлянды бумажных цветов и флажков, балки и фермы обнажались – в бородавках заклепок, облупившейся краске, ржавчине, засохшей крови, – и, дотягиваясь до новых дней, железом крепли под ногами.

А за окнами – громадные полотнища плакатов и транспарантов, закрывшие фасады, чуть колыхались на туго натянутых тросах. На многих повторялась диаграмма: цифры внизу «1913–1940 – 1960–1980» и взбегающая всё выше яркая полоса – производство стали, нефти, электроэнергии. Над последней датой она взмывала ввысь, как ракета. Белыми и золотыми буквами на красной материи: «Первая программа партии – выполнена. Вторая – выполнена. Третья – будет выполнена!», «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Должно быть, только теперь они по-настоящему осознали себя избранным поколением. Сама история сберегла их от войны, от неправды и первыми предназначила для будущего. Они жили в тех же коммунальных квартирах, а то и в полуподвалах, их школьная форма из дешевой фланельки, утвержденная в былые еще времена, походила на солдатские гимнастерки, и лишь немногим из них в девятом классе родители могли купить часы. Но им дышалось легко, время было их временем.

Возвращались прекрасные имена уничтоженных. Выходили непредставимые еще год назад стихи, повести, фильмы – и пронзительное «Чистое небо», и «Человек-амфибия» с голубыми красками подводных съемок и песенками про «морского дьявола». Гагарин и Титов улыбались с фотографий за ветровыми стеклами автомашин. Невероятное вливалось в жизнь, быстро становилось привычным. Всё это было для них, и торжеству, казалось, не будет конца.

На уроках им задавали сочинения: «Какой я представляю цель жизни после построения коммунизма». Они задумывались: в самом деле, когда наступит коммунизм, они будут еще молоды. За какие высокие цели бороться тогда, ведь успокоение невозможно? И они находили ответ: при коммунизме всеобщей целью и смыслом жизни станет наука, познание безграничной, бесконечной Вселенной.

В фантастических книгах, которые они теперь читали, путешествовали уже не к Марсу и астероидам, а к звездам на фотонных ракетах, проносились в считанные годы сквозь световые столетия. Они верили, что доживут до этих полетов. Еще не вступив в жизнь, они чувствовали себя всемогущими.

И вдруг – этот октябрь шестьдесят второго. Разреженный воздух. Бескровное чувство бессмысленности… Он выходил на Неву. Приваливался к шершавому, холодящему руки граниту набережной, – подросток в стареньком, длинном пальто и кепке, показавшийся бы пугалом девятиклассникам нынешних восьмидесятых с их джинсами, курточками, вязаными шапочками.

Что же теперь будет?.. Сколько раз потом, когда сдвигались глыбы обстоятельств, – изредка с грохотом обвала, чаще беззвучно и давяще, – наблюдал он у других (и у себя) этот мгновенный переход к придавленному ожиданию: ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ?! Много раз потом. В те дни – впервые…

Он думал о посланиях Хрущева, так не похожих на обычный хрущевский уверенный и насмешливый тон. В них чудилось что-то заискивающее, вызывавшее даже досаду (зачем же так перед врагом?), и была какая-то высшая мудрость: что угодно, только не война!

Хрущев был для Григорьева великим человеком. Всё обновление страны, казалось, движется энергией его одного – крутоголового, с ехидным мужицким лицом. Григорьеву нравилось читать в газетах его огромные речи, густо пересыпанные пометками «веселое оживление» и «смех в зале». И даже в том, что многие Хрущева не любили, рассказывали о нем ядовитые анекдоты, даже в этом был новый воздух – освобожденности, небоязни.

А беспрестанные полеты Хрущева по свету! В каких он только странах не бывал и не выступал, с кем не фотографировался! Всё – для взаимопонимания, для мира. Как же мог Хрущев, великий борец за мир, допустить то, что случилось? Откуда у него, грозившего на любой удар ответить уничтожающим ударом, эта растерянность?

Всего две недели назад утверждали, что на Кубе нет наших ракет. В «Правде» напечатали фотографию: музыканты, прилетевшие из Москвы в Гавану, с контрабасами в руках хохочут над американской газетой. Та объявила их оркестр военным соединением. Теперь оказывается, ракеты были привезены… Зачем же это скрывали? От кого? Выходит, только от своих? Почему Хрущев, такой откровенный с народом, не сказал прямо: «Нас окружили базами, и мы в ответ поставили ракеты у их берегов. Так нужно!»?

(Имени Хрущева, конечно, не было в стихотворных строчках, не собирался он сейчас, в восемьдесят четвертом, дразнить редакторов. Но была в них невероятность того далекого дня – будничного осеннего дня и «высшей боеготовности», точно рубильником включенной в нервы.)

Осматриваясь, он шел вдоль Невы. Дома и дворцы по берегам словно уменьшились в размерах. Тысячетонные арки мостов с ползущими муравьишками-автомобилями стали невесомы. Шпили, блеклые без солнца, были легки и непрочны, свернутые из позолоченной бумаги. Его родной город казался игрушечным, выстроенным на наковальне.

…И над утратившим реальность миром
Повисло небо нереальное – накидкой
Полупрозрачной тонкой пелены.
Свет, словно бы искусственный, белёсый,
Рассеянно и ровно сквозь нее
На город лился, не давая тени…

Не было сил уйти домой. Душа мальчишки жаждала толчка, опровержения. Ноги сами тащили его по центральным улицам, он вглядывался в лица прохожих. Замедлившееся время растягивалось.

И вдруг – на набережной Фонтанки – мимо него промчался открытый военный грузовик с пушкой на прицепе. Пушка была темно-зеленого защитного цвета, приземистая, длинноствольная. Затвор и дульный тормоз на конце ствола – в брезентовых чехлах. Солдаты в кузове прятали головы в поднятые воротники шинелек. Это была обычная полевая пушка образца еще военных лет, и, глядя на нее, Григорьев подумал нелепо, что до Америки ей своим снарядиком не достать. На сколько, в самом деле, могла она выстрелить? Ну, пусть на пятнадцать, на двадцать километров. Вряд ли везли ее в какой-то связи с мировым конфликтом. Но эта пушка мчалась сквозь притихший, замедленный город под белёсым небом, – через Невский, мимо Аничкова моста, к Летнему саду, – мчалась по-военному стремительно, слегка подпрыгивая на совершенно гладком асфальте, поводя стволом, отражаясь ломкой зеленой молнией в темных стеклах двухсотлетних дворцов. Редкие в рабочий час прохожие на набережной Фонтанки провожали ее взглядами.

И вместе с ними глядя ей вслед, задетый расходящимся вихрем ее движения, под прокашливанье уличных репродукторов, которые готовили к воздушной тревоге, почувствовал он горячими толчками сердца: всё может обойтись… может обойтись… обойдется…

И ощутил другое, смятенно-неуловимое для мальчишеского разума: его спасшийся мир уже не будет прежним! На горизонте жизни, там, где высились межзвездные корабли – серебряные башни остриями под облака на опрокинутых чашах фотонных отражателей, рапиры человеческой мысли, нацеленные в бесконечность, – изламывались сверкающие очертания, размывались, затягивались ватной дымкой.

Нева, октябрь шестьдесят второго,
И этот призрачный белёсый свет…

Але не понравилось. «Зачем ты написал это? Хочешь показать, что твое поколение тоже что-то пережило?»

Литконсультант из отдела поэзии разъяснял ему, что белый стих его лишен внутренней динамики, что произведение губит неопределенность авторской концепции, и что для публицистической поэзии лучше выбирать факты сегодняшнего дня.

Может, не слишком задело бы это Григорьева, но отчего-то ему вдруг показалось, что литконсультант, поучавший его, – молод. Так же молод, как Аля. И это внезапно привело его в ярость.

2

Туда и обратно вдоль стеклянной стены. Аля всё не появлялась… Значит, в этом году не получилось у него ни одной публикации. В следующем, 1985-м, тоже, наверное, не будет. Новый повод любопытствующим для расспросов.

После нескольких рассказов, напечатанных в неприметных сборничках «молодых авторов», слушок о них, к досаде Григорьева, просочился среди знакомых. Особенно донимали на работе. Выискивали его героям прототипов среди своих сотрудников. Допытывались: с чего это вообще, нормальный с виду человек потянулся в сочинительство?

Григорьев, как с полетами, не нашел сразу нужной защиты. Ворчал, отмахивался, пока так же, как с полетами, не выручила Аля. Она сказала: «Отвечай им просто, что это – твое хобби». Стали отставать, удовлетворенные. А если кто бросал пренебрежительно, что – мало ли теперь жизнью недовольных инженеров царапают прозу да стихи и бегают по редакциям, – Григорьев соглашался: конечно, немало. Вот и он тоже.

По редакциям он, правда, не ходил. Рукописи посылал почтой. Тщательно отпечатанные, каждая – в прозрачной полиэтиленовой папке, и все вместе – в плотном конверте для служебных бумаг. (Аля смеялась над ним. Он покорно вздыхал: да, бюрократ, воспитали.) Возвращались рукописи через разное время – через несколько месяцев, через полгода, иные и через год. Возвращались помятые, разлохмаченные, сохранившие прикосновения чужих рук. Прозрачные голубые папочки исчезали всегда – в редакциях, видно, был на них голод. Григорьев как-то подумывал накупить сразу на трешку десятка два копеечных этих папок и послать в очередном конверте. Но когда Аля сказала: «Всё равно не сделаешь!», – подумал еще и, действительно, не сделал.

Рукописи возвращались не просто так, а с рецензиями. Когда-то первые рецензии Григорьев читал с трудом: фальшиво-благожелательные строчки били по глазам, холод стыда и беспомощности останавливал сердце. Но достаточно быстро пришло к нему удушливое спокойствие привычки, и, пробегая глазами объяснение очередного отказа, он просто отмечал для себя, что вот эту рукопись не читали совсем, потому и отделались общими фразами,

эту – хоть просмотрели. А если приходила рецензия подробная, в которой рассказ его хвалили за новизну темы, но ругали за бедность языка, он доставал из разбухшей «отказной» папки рецензию прежней редакции, где тот же рассказ хвалили за язык и стиль, но отвергали за избитость темы, скалывал оба листка одной скрепкой и в ту же папку убирал.

Поначалу казалось унизительным и то, что новые рукописи приходится отправлять всё в те же журналы. Но тут уж выбора не было, – журналов издавалось немного. Да и отвечали из одной редакции всякий раз иные люди. А рукописи – надо же было куда-то посылать.

Просто удивительно, что несколько раз его всё же напечатали – в тех самых малотиражных сборничках «начинающих». Но странное он всякий раз испытывал чувство, глядя на свое оттиснутое типографским шрифтом детище, словно отчужденное теперь от него и даже просто – чужое, до того трудно узнавался текст, искореженный редакторской правкой. Строчки и периоды прозы, такие ломкие, которые он бережно подгонял друг к другу, пытаясь добиться мелодии, кривлялись хаосом раздробленных осколков. Он заставлял себя прочитывать всё до конца, точно выполнял неприятную, но обязательную работу. Потом убирал в тот же ящик письменного стола, где лежала папка с отказами…

Он повернулся, зашагал назад вдоль стеклянной стены и неожиданно, – как всегда при встречах с ней, неожиданно, – увидел Алю. Она пробиралась сквозь толпу, тоненькая, похожая на мальчика в джинсах и курточке, с коротко остриженной темноволосой головкой. Оглядывалась, отыскивая его, и когда нашла, в темных блестящих ее глазах, на всем детском личике мгновенно отразилась не радость, а почти враждебность.

Так было всегда перед расставанием. Так иногда бывало и в самые нежные минуты их любви, когда Аля, запрокинутая, стонущая, задыхающаяся от его ласк, вдруг открывала глаза, всматривалась ему в зрачки и с неожиданной ненавистью начинала отталкивать его, бить, бить – по лицу, по плечам: «Будь ты проклят!» Он сжимал ее плечи, ловил губами рот, чтобы заставить замолчать, а она металась на подушке с полными слез глазами и кричала: «Будь проклят! Не можешь забыться, так хоть притворись, притворись!..»

Аля остановилась перед ним. Смотрела молча, не здороваясь.

– Здравствуй… – виновато сказал Григорьев.

Каждый раз в первые минуты встречи она казалась ему неправдоподобно юной.

– Пойдем отсюда! – приказала она.

Григорьев покорно вышел за ней к внешней балюстраде. Внизу подкатывали ярко освещенные автобусы, всасывая вытекавшую из залов прибытия толпу. Вспышками разноцветных огоньков в темном небе, точно гроздь, сорвавшаяся с елочной гирлянды, медленно падал лайнер, давя гулом турбин.

Закурили. Григорьев не любил, когда она курила, – по-взрослому, затягиваясь и выпуская струйки дыма. Здесь, в полутемноте, да еще в профиль, она была не так красива: вздернутый носик и срезанный подбородочек делали ее лицо похожим на лисью мордочку. Всегда, когда Григорьев хотел вызвать в себе раздражение против нее, он заставлял себя видеть в ее чертах это недоброе, лисье.

– Надолго летишь?

– Дней на десять.

– Отдохнешь от меня…

Сквозь бензиновый перегар и табачный дым он уловил аромат ее духов – сладковатый, чистый. Рука сама потянулась к ее коротко остриженной головке, пальцы скользнули по мягким, теплым завиткам волос, легли на тонкую горячую шейку. Аля притихла. Когда поднимался в его душе этот прилив нежности и горечи, он становился беззащитен перед ней…

Они познакомились почти два года назад, на встрече нового 1983-го, в незнакомой Григорьеву компании, куда его случайно затащил приятель. Было много молодежи, шума. Танце-

вали под стереозаписи каких-то знаменитых ансамблей, – Григорьев скучал, пил. В полутемной боковой комнатке, где было хоть немного тише, под распахнутой морозной форточкой дымили сигаретами несколько девушек. Его занесло туда, он тоже сидел и курил. Потом наткнулся на какую-то гитару, от нечего делать стал проверять настрой, и кто-то уже просил его сыграть. Он почти не умел играть, но был пьян – полусонным, добродушным опьянением от вина, насыщения, усталости, и согласился, и начал, осторожно трогая струны, выговаривать давнее, саяновское:

Новый год я встречал
В небольшом городке за Окою.
Там по снегу пройдешь
И покажется ночью такой:
Чуть на цыпочки встанешь
И звезды заденешь рукою.
Только встретиться здесь
Не придется сегодня с тобой.
Говорят, что Ока
Это чье-то старинное имя,
Что кочевники дали
Ей имя седого вождя…

Сбивая его с мелодии, мягко и мощно толкались в стены аккорды стереофонических колонок из соседней комнаты. И вдруг – от ночного морозного окна в полутьме, сквозь слои табачного дыма – будто поплыло к нему бледное детское лицо с устремленными на него блестящими темными глазами, с темными пятнышками ноздрей вздернутого носика, темным пятном губ. Прохладная, очищающая волна нежности поднялась в нем, вымывая опьянение. Твердеющие пальцы уже без ошибок находили лады. Устремленный навстречу ей, он выговаривал – без жалобы, просто, открываясь:

Ну, а как же мне быть
В эту ночь с городами твоими?
Как назвать их теперь,
Сквозь ночную метель проходя?..

Начало их любви тоже походило на опьянение. Аля точно открыла в нем необыкновенный мир, изучала его и восхищалась своими открытиями. В чем-то сам был виноват – распустил павлиний хвост. И работа у него суровая, и командировки по всей стране с самолета на самолет. Ничего, вроде, не преувеличивал, а всё равно… Давал ей свои стихи. Она читала вслух. Медленно, изумленно.

Почти каждый вечер ждала его возле дома, даже тогда, когда не договаривались встретиться. Приезжала и выстаивала на улице часами. По выходным не давала ему выспаться: ни свет ни заря будила звонком в дверь его однокомнатной квартирки. Врывалась к полуодетому, сонному – сияющая, с обещанием накормить каким-то необыкновенным кушаньем, для которого всё привезла. И вдруг, забыв о сумке, пакетах, стихала, горячо задышав, тянулась к его губам, – и неприготовленным оставалось чудесное блюдо, нетронутой – дожидавшаяся выходных рукопись.

Да, это было именно опьянение, и потому он очень скоро почувствовал тревогу. Пытался даже осторожно внушать ей: «Не обманывайся, я обыкновеннее, чем ты думаешь».

Куда там!.. Она его скованность объясняла по-своему: «Это оттого, что я не сберегла себя для тебя? Ну, скажи – да?» И плакала, просила ее простить.

В те первые месяцы они ни разу не заговорили о женитьбе. Он-то, хоть и с опаской, раздумывал над этим, но Аля не опускалась до земных мыслей. Алю волновало лишь одно: любит он ее или нет. Он много раз повторял слово «люблю», а она всё не верила, мучалась и мучала его. Казалось, чтобы ее успокоить, надо только произнести это слово как-то по-особенному, с силой заклинания, и сразу – весь мир утвердится. Но у него заклинания что-то не получалось…

Он первым заметил, как понемногу им становится трудно быть вместе. Особенно в будние вечера, когда они соединялись, вынырнув каждый из своего мира. Он – тяжко обмякший и уже сонливый после рабочего дня. Она – легкая, танцующая. Ей не терпелось поделиться возбуждавшими ее новостями о каких-то своих знакомых. Нежные звуки ее голоса, мимика, смех точно осыпали его звенящим дождем. Он любовался ей, с усилием улавливая нить. Она вдруг пугалась: «Тебе неинтересно? Или ты плохо себя чувствуешь?» – «Да просто устал. Устал же, Алечка». – «Что такое, что?!»

Он пытался рассказывать о своих делах – шутливо, посмеиваясь над собой. Опытная партия приборов, – полгода выбивал для нее детали, – взяла и поплыла по сопротивлению на вибростенде. Ведь над душой стоял у паяльщиц, чтоб не схалтурили, да за всем не уследишь, он не Змей Горыныч, у него одна голова. И черт знает, что теперь делать: дважды уже переносил срок по договору, второй раз еле умолил, больше не дадут… И со старыми, серийными приборами – заморочки. Поставщики сняли с производства герметик на импортном сырье, выпускают заменитель, дрянь. Свои заводы брать его отказываются. С поставщиков что возьмешь – чужое министерство. А он «ведет» приборы, в которых проклятый герметик используется, его и долбят снизу заводы, да сверху главк. И еще третье, пятое, одиннадцатое, – всё разом и непрерывно, как молотящие острозубые шестерни, только успевай метаться среди них.

Не надо было рассказывать ей об этом. Не сочувствия же у нее искал. Пусть бы его работа осталась для нее таинственно-возвышенной. Ведущий инженер в научно-производственном объединении с красивым названием – звучит, и ладно!.. Хотя, она бы, наверное, сочувствовала. Она бы, наверное, и на помощь кинулась, если бы с ним ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ. Но ведь ничего не случалось. Это для него вращение и удары шестерён – поток событий. А ей было непонятно, отчего он так озабочен этими неинтересными и, главное, нескончаемыми делами, как можно так уставать от них.

Ей уже становилось обидно, что он часто улетает в командировки. «А ты не можешь не лететь?» – «Ну, что ты! Межведомственная комиссия!» – «Мне скучно будет без тебя». Она еще не понимала, что начинает скучать с ним. А он уже понимал. И каплями желчи копилась в груди досада: не мальчишка же он, в самом деле, – тянуться выше головы, что-то из себя изображать, чтоб только удержать ее. В его возрасте и ценишь-то женщину за то, что можешь с нею быть самим собой.

Значит, оставалась единственная самозащита – сдавливать себя, не размякнуть, душой к этой девочке не прирасти, чтобы потом, когда всё разрушится и она вернется в свой мир, не было слишком больно.

Она стала звать его в компанию своих ровесников. Он напрягся: вот и всё, лучше порвать сейчас! А она удивлялась, отчего он хмурится. Настаивала, капризничала. И ему не хватило решимости. Убедил сам себя: она уже не может без них, но еще не может без него. Пусть пока будет так, пусть продлится…

Как видно, из-за него Аля на время от компании отбилась и теперь вернулась. Но встретили ее, а с ней вместе Григорьева, радушно и со светским нелюбопытством. Ни шуточек, ни насмешливых взглядов, – он следил. Вежливые юноши с аккуратными стрижками.

Миленькие, почти без косметики, девушки. Все одеты скромно, чтоб не сказать бедновато, для нынешней молодежи восьмидесятых: в выцветших и латаных джинсах, дешевеньких рубашечках и свитерках. В основном, студенты-филологи, как сама Аля. С дневного факультета, а еще больше – с вечернего, приезжие, сумевшие кой-как зацепиться в Ленинграде охранниками, сторожами, кочегарами.

Собирались почти всегда не в отдельных квартирах, а в комнатах коммуналок в домах-крепостях старого Петербурга, с полутемными коридорами и громадными кухнями, с застойным запахом холодной сырости, пыли, пригорелых сковородок и луковых очисток, с бесконечным шумом воды в уборной и ванной, с неясными фигурами соседей, бесшумно и раздраженно проскальзывающими из двери в дверь, чтобы не сталкиваться ни с кем из пришедших.

Комнатки были служебным жильем вечерников, предоставленным от службы охраны, от жилконторы. В какой-нибудь из этих нищенских комнаток, почти без мебели, но с завалами книг на подоконниках и прямо на полу, разместившись на продавленном диване и табуретках вокруг накрытого клеенкой стола, они подолгу сидели вечерами. Неимоверно курили, прихлебывая крепкий чай, а иногда – черный кофе. Ели мало и спиртное пили с похвальной умеренностью. Как подозревал Григорьев, то и другое – от безденежья. Когда однажды, чтоб не явиться с пустыми руками, он принес бутылку коньяка, ее рюмками, честно поровну, разлили в тот же кофе.

Григорьев с любопытством приглядывался к компании. Симпатичные лица, правда, немного бледные, как у нездоровых детей, редко бывающих на свежем воздухе. Удивляло то, что они с Алей были здесь единственной парой. Все остальные юноши и девушки вели себя друг с другом только по-приятельски. Сексуальных тем, конечно, касались, – отвлеченно, когда говорили о сюжете книги или фильма. В самой же компании царила абсолютная пристойность. Ни малейших следов флирта, никаких рискованных шуточек. Были они бесполыми или собирались сюда, как в клуб со своими правилами, только для духовного общения? Во всяком случае, настороженность Григорьева – с кем тут Аля была до него? – ослабла понемногу.

А следить за «общением» поначалу оказалось интересно. Он знал, что многие в компании пишут – прозу, стихи, переводят. Но никто своего не читал, и говорить об этом избегали. Беседа кружилась какой-то стремительной игрой в знание мировой литературы, мирового кино, мировой живописи и музыки. Сыпались имена великих европейских, латиноамериканских, африканских писателей, о которых Григорьев часто и не слыхал. Прочитанное перелетало над столом пригоршнями хрустальных осколков: колючее сверкание мыслей, переливы парадоксов.

В других литературных компаниях, где бывал Григорьев, собирались, чтобы спорить. Седовласые дяди выкрикивались там, как юнцы. Эти же алины юнцы не спорили никогда. Один рассказывал, остальные внимательно слушали. Потом вступал другой. Искрящиеся осколки, раз промелькнув, исчезали навсегда, мгновенно оцененные и спрятанные. К ним не возвращались. За стол нужно было нести новое, только новое.

Григорьев вначале удивлялся: неужели у нас теперь издают столько переводной литературы? А почему ребята рассуждают о фильмах, которых не могли видеть, откуда попадают к ним подробности из жизни западных писателей и режиссеров?.. Впрочем, эти ребята знали языки и кое-что, наверное, читали в подлинниках, как-то доставая зарубежные книги. Он видел у них и западные журналы в ярких глянцевых обложках. Не какой-нибудь «Плэйбой», а вполне серьезные издания по искусству.

Из рук в руки переходили машинописные листки со стихами эмигрировавших поэтов. Их прочитывали молча, о них не говорили. Эмиграция была связана с политикой, а политика ребят не интересовала. Больше того, считалась, похоже, запретной темой. Когда кто-то из

компании стал высказываться о смене властей, – Черненко в те дни пришел после Андропова, – Григорьев впервые за этим столом услыхал, как говорившего с насмешкой оборвали: нашел о чем!

Григорьев замечал, что в пестрой нахватанности ребят много наивного. Они плохо знали русскую классику и ко всему неиностранному, несамодеятельному, что профессионально издавалось и исполнялось в родном отечестве, относились без разбора пренебрежительно, как к серой казенной штамповке. Возможно, ощетинивал их защитный рефлекс: ведь знали они, знали прекрасно, как для них недоступны хоть те же редакции. Молоденькие, напыжившиеся от гордости лисенята у бетонной стены виноградника.

Сквозь их безукоризненную приветливость Григорьев чувствовал все-таки, что вызывает у них недоумение – своим возрастом, своей работой, постоянным молчанием в тени Али. Однажды раззадорился их поддеть. Вдруг влез в разговор и бухнул, что литературу русскую и даже советскую, не всю, конечно, а ту ее толику, что достойна этого имени, считает выше нынешней иностранной! Там, на Западе сейчас, конечно, играют формой, сыплют из сюжетов и слов узоры – куда нашим. Да только сплошь и рядом для того, чтоб очевидную мысль хитрее завинтить. Боли, боли такой глубокой, человеческой, как у нас, у них нету!

За столом вежливо молчали. Он быстро спохватился, что говорит в пустоту. Имена Трифонова, Шукшина, Воробьева, Меттера звучали здесь экзотичней, чем Кортасар или Дрис Шрайби. Едва умолк, они продолжили свой разговор. Ни возражений, ни иронии…

Их как будто не слишком волновало и собственное будущее. Во всяком случае, никто не делился своими планами (или в этом тоже проявлялся здешний «хороший тон»?). Однажды, узнав что сосед за столом, темноглазый предупредительный мальчик, изучает португальский язык, Григорьев из чувства симпатии заговорил о больших его профессиональных перспективах. С Португалией после «революции гвоздик» у нас отношения хорошие, а главное – на португальском говорит Бразилия. Сто пятьдесят миллионов человек, научно-промышленный подъем, одна из сверхдержав будущего. Контакты будут расти и расти, а много ли у нас владеющих этим языком? Так что, прекрасно… Мальчик, не ответив, посмотрел на Григорьева едва ли не с сожалением.

Он начинал уже томиться за их столом. Аля же восхищалась своими друзьями. Тот у нее был талантлив, другой – исключительно талантлив. И в ее возбужденном восхищении многими размывалось понемногу восхищение им, Григорьевым.

Она уже и раздражаться на него начала – когда он заговаривал с ней о работе. Она как раз закончила свой филологический и ходила без места: предлагали – учительницей, а ей хотелось переводить художественную литературу. Но кому нужны переводчики в таком переполненном специалистами и бедном издательствами городе?

Григорьев предлагал устроить ее к себе в НПО, в отдел информации. Со знанием английского и немецкого, да с его помощью, ее бы взяли, хоть и там штат был полон. «Будешь переводить патенты и статьи. Разобраться в нашей технике – помогу». Она твердила в ответ, что никогда не пойдет в инженеры: «Для тебя неестественен человек без работы, а для меня неестественно бежать утром к звонку и высиживать до вечернего звонка!»

Она приносила свои стихи, требовала оценки. Это были стихи, какие пишут многие начитанные девушки из благополучных семей: желание любви, первые, трагически воспринятые разочарования, горестное чувство собственной исключительности, страх перед неизведанным еще бытом. Ломаный, под Цветаеву, ритм и размер. Боясь обидеть, он хвалил, но, как с заклинанием любви, что-то у него в словах, видно, звучало не так.

Трещинки между ними множились. И как раз в это время Аля настояла, чтобы он пришел к ней домой. Он отчаянно боялся встречи с ее родителями, и то, что при встрече произошло, привело его в еще большее смятение. Родители были из тех, что называются «молодыми». Старше Григорьева на каких-то лет семь-восемь, непохожие на Алю – высо-

кие, крупные, основательные. Так же, как он, инженерного, плебейского сословия. Неплохие, видно, люди, и в ином случае он сошелся бы запросто с этими почти ровесниками. Но случай был не иной, а такой, как есть: пришлось сидеть за чайным столом, украшенным, похоже, лучшим домашним сервизом, выдавливать из себя какую-то чушь, чуть ли не о погоде, и видеть, леденея от стыда, их беспомощную, предупредительную покорность. Они едва не заискивали перед ним. Конечно, не ради его прекрасных глаз и красноречия, а из-за сумрачно молчавшей рядом Али.

После этого Григорьев стал требовать:

– Давай, либо поженимся, либо расстанемся!

Аля воспринимала лишь первую часть дилеммы:

– Зачем ты хочешь на мне жениться? Ты ведь меня не любишь! Ты вообще никого не любишь! Даже себя – в тебе нет нормального, привлекательного для женщин мужского эгоизма. Работу свою ты тоже не любишь, не притворяйся! Ты ее тянешь по обязанности!

– Ты меня на работе не видишь!

– Ну конечно, там ты не сидишь сычом, там ты раскован! А почему только там, почему не со мной? Потому что все твои силы уходят на работу и рукописи, на жизнь уже не остается! Кстати, зачем ты вообще пишешь? Что ты можешь написать? Писателю нужна жизнь разнообразная, свободная, а ты – в туннеле и не хочешь из него выбраться!

– Но ведь это – моя жизнь. Правильно я живу или неправильно, это – МОЯ ЖИЗНЬ! А туннели… так должен кто-то писать и о туннелях.

– Да для кого же, господи?! Для тех, кто живет так же, как ты? Думаешь, им это будет интересно?.. Вот, скажи: ты хоть когда-нибудь чувствовал себя счастливым? Хоть раз в жизни? Я не могу себе такого представить!

Чувствовал ли он себя когда-нибудь счастливым? Аля, Аля, как еще наивна ты в свои двадцать четыре! И та давняя песня тоже была наивна. Только теперь понимаешь и наивность ее, и мудрость. Артур Эйзен ее пел на новогоднем «Огоньке», картинно хмурясь и прижимая руку к груди. Кажется, как раз под новый 1963-й: «Годы, вы как чуткие струны: только тронешь, запоет струна!» Они, в самом деле, как струны. Все здесь, близкие и дальние, одинаково под рукой. Притронешься – прозвучит слышное только тебе и угаснет во времени…

В июне 1963-го, закончив девятый класс, они втроем – Димка Перевозчиков, Марик Чернин и он, Григорьев, – забрали документы из дневной школы и отнесли в вечернюю. В дневной ввели одиннадцатый класс, вечерняя осталась десятилеткой. Они рассуждали о том, что даже теперь, смотри-ка, совершаются ошибки. Не страшные, конечно, как при культе, но – ошибки. Ведь все говорят, даже педагоги, что одиннадцатилетка – нелепость.

А впрочем, без ошибок, наверное, не бывает. И хорошо, что они уже такие взрослые, сообразительные и решительные. Взяли – и обошли препятствие. Выиграют целый год, раньше сверстников поступят в институты. А если не пройдут, – пожалуйста, готовься снова, до армии еще год в запасе. Чтобы учиться в вечерней, надо было устроиться на работу, но это – в августе. А пока что у них были лето и полная свобода.

Обычно с утра они втроем уезжали электричкой на Финский залив – в Сестрорецкий курорт, в Зеленогорск или в Солнечное. В сеточке-авоське – пакеты с бутербродами и, если случались деньги, несколько бутылок пива (Димка подбивал покупать). Мелькали домики пригородных поселков. За Лахтой электричка вылетала в простор низкого песчаного берега. Становился виден отдаляющийся муравейник города. В белом скоплении домов, накрытом слоем сизой дымки, различались заводские трубы и стрелы огромных кранов на верфях, золотой блесткой сверкал купол Исаакия. А навстречу плыла гладкая, дымчатая голубизна залива. Синим островком на горизонте проглядывал Кронштадт.

Марик брал с собой транзисторный приемничек, такие были еще в новинку. Покачивалась электричка, гуляли в полупустом солнечном вагоне сквозняки от приоткрытых окошек, выбивалась из приемничка музыка.

Какая была самая популярная мелодия в том году? Ну да, эта песенка из аргентинского фильма. Сам фильм прошел по экранам – ее не заметили. Открыл ее, конечно, любимый субботний «Голубой огонек», и разлетелась она по стране уже с русскими словами. Почти все знаменитости ее исполняли – Кристалинская, Трошин, Анофриев. Появлялись новые и новые переводы текста. Но близким остался тот, из телевизионного «Огонька», для женского голоса:

Тянется дорога, дорога, дорога,
Катятся колеса в далекую даль.
Что ж это на сердце такая тревога?
Что ж это на сердце такая печаль?..

Димка усмехался, глядя в окно. Он был самым заметным из них – крупный, светловолосый, с едкими зелеными глазами и великолепной улыбкой. Среди белых зубов у него выделялись длинноватые и острые верхние клыки, отчего, улыбаясь, он становился похож на красивого молодого волка.

Димка говорил, что уже знал женщин. Такие подробности выдавал, что дышать трудно становилось. И скорей всего, не врал. Он же не хвастался перед ними – просто рассказывал. Они сами подмечали, как на Димку смотрят девушки, даже те, что старше. Как теряются от одного его взгляда, от небрежной шуточки. Им с Мариком какую-нибудь такую шуточку и не выговорить бы, не решиться. А Димке – всё легко.

Учился Димка так себе. Зато на скучном уроке вытащит лист чертежной бумаги, немного подумает, улыбаясь своим мыслям, потом замелькает в его пальцах карандаш, – и, как у фокусника, начнут появляться островками в разных местах руки, ноги, головы непонятных человечков, странные черточки, пятна. Островки, разрастаясь, сливаются, и к концу урока весь лист покрыт рисунком. На перемене, отталкивая друг друга, они его с хохотом рассматривают: два пиратских корабля, «Норд-Ост» и «Зюйд-Вест», свалились на абордаж. Пираты, одноглазые с черными повязками, одноногие на деревяшках, рубятся саблями, палят из пистолетов, мечут, как гранаты, бутылки с ромом. Уморительны их зверские рожи с вывороченными губами и вытаращенными здоровыми глазами. Уморителен проснувшийся с похмелья капитан «Зюйд-Веста» – выглядывает из каюты, и на заросшей морде изумление: что тут происходит?!

В то время они зачитывались «Двенадцатью стульями» и «Золотым теленком». Щеголяли шуточками вроде: «Берегите пенсне, Киса!» Димка разразился целой серией импровизаций. Один из тех рисунков, пожелтевший, сохранился у Григорьева. Улица городка двадцатых годов, покосившиеся домики, лужи, грязь. Торгуют плутоватые бабы с лукошками, дерутся тощие коты, бродит козел-скептик. Подвыпивший поп с крестом о чем-то спорит с красноармейцем в буденовке. Беспризорник прикуривает у нэпмана, а его приятель что-то вытаскивает у того сзади из кармана полосатых брюк. Сквозь всё это безобразие стремительно шагает Остап, брезгливо вскинув физиономию с булыжным подбородком. За ним спешит пугливый Киса, придерживая пенсне.

Какой смех тогда вызывали димкины иллюстрации! Безудержный, но с капелькой неясной печали, словно остающейся на дне после того, как выбежит из стакана веселая пена. Или только теперь так кажется?.. Димка собирался поступать в институт живописи.

…У тебя глаза золотистого цвета,

Возишь ты беду на фургоне своем.
Хочешь, мы поделим одну сигарету
И по белу свету покатим вдвоем?

Нам издалека доносит ветер
Шорохи листвы и звон цикад.
У кого надежда есть на свете,
Тот уже и счастлив, и богат…

Звенела песенка обещанием неведомого счастья и неведомой грусти. Марик Чернин подкручивал настройку, ловил уходящую волну. Невысокий, остроносенький, он оправдывал фамилию – весь был черный. Черноглазый, с каракулевыми кучеряшками, за что прозвали его в школе «синтетическим барашком», с темными щеками (у него густо росла борода, он уже брился каждый день).

Кроме «синтетического барашка» имел Марик другое прозвище – «математический сундук», сократившееся в «Тёму». Своим способностям в математике он как будто сам удивлялся вместе с ними. Он не только решал мгновенно тригонометрические задачки, муку всеобщую, не только держал в голове синусы-косинусы всех углов и уйму логарифмов (на спор с другим классом проверяли его по таблицам Брадиса), он еще и книжки какие-то нечеловеческие по математике собственной охотой читал. А если дразнили, стеснялся: «Интересно же!»

Когда они втроем забирали документы из дневной школы, им встретилась математичка Тамара Абрамовна, смешливая толстуха лет сорока. Подхватила Марика, отвела в сторонку – посекретничать. Но говорила всё равно громко, так что и Григорьев, и Димка услыхали непонятный разговор. «В университет не ходи!» – сказала она каким-то не своим голосом, строго и резко. Марик ответил что-то невнятное. Кажется: «У меня же нормально, как у мамы. У меня только отец…» И еще что-то, про время. Мол, теперь оно тоже нормальное. Тамара Абрамовна сердито повторила: «В университет не ходи!» – и быстро ушла, топая толстыми ногами. Марик подошел к ним покрасневший и хмурый. Как ни приставали, ничего не стал объяснять.

…И опять – дорога, дорога, дорога.
Едем мы с тобою не день и не год.
Кажется, до цели осталось немного,
Но – за поворотом опять поворот…

Электричка летела уже курортной зоной. Сквозь сосны мелькали слева белые дюны, за ними – темно-желтая полоса пляжей с фигурками отдыхающих, и дальше, до горизонта – искрящийся под солнцем залив, ленинградское море.

Григорьев смотрел на Марика и Димку и думал о том, как повезло ему с друзьями. Были просто одноклассники. А вот, решились, именно они трое, на свой смелый маневр, соединились – и хорошо им вместе. Среди них даже соперничества нет, каждый – первый по-своему. Вот он, Григорьев. Далеко ему до Марика в математике, зато книг прочитал больше всех в классе и так умеет рассказывать, что тянутся его слушать, даже девочки.

Марик с Димкой точно знают, чего хотят, а он еще не выбрал институт. Но впереди целый год. Пока сама неопределенность – словно власть над жизнью. Как будто ты над всем и всё тебе принадлежит: электроника, химия, ракетная техника.

Они столько раз видели свое будущее! Дальнее – в кинофильмах: «Девять дней одного года», «Улица Ньютона, дом один». Даже в комедии «Три плюс два», – живот надорвешь от

хохота, – и то герой – физик. На экране рассуждали, дразня их воображение, о гильбертовом пространстве, о мю-мезонах. Такое время. Ничего, скоро и они всё поймут, хоть и гильбертово пространство.

Их ближнее будущее было в телевизионных передачах «КВН», где в фейерверках остроумия бились студенческие команды. Они поступят в институты – и сами попадут в тот праздничный мир…

Залив был неглубок, его почти пресная вода – холодновата даже в жаркую погоду. А песок на пляже накалялся как следует. Искупавшись, они валялись на берегу, играли в карты.

Димка, мускулистый, загорелый, с искорками песчинок на гладкой смуглой коже, садился по-турецки и, небрежно и ловко держа сигарету щепотью, курил, выдувая дым сквозь сложенные трубочкой губы. Угощал их. Марик отказывался, а Григорьев курил вместе с Димкой. Первые в жизни сигареты – болгарские «Шипка», «Солнце», ароматные, в плоских картонных коробочках с откидной крышечкой.

Щупленький бледнотелый Марик (к нему плохо приставал загар, выделялись черные волоски на груди и на руках) лежал, подперев щеку. На темном личике – довольство.

О чем они болтали тогда? Ведь наговориться не могли. Чуть ослабленное временем, доносится их щебетанье: «Ботвинник, балда, продул чемпионство Петросяну! Он на матчах-реваншах привык отыгрываться, а их отменили. – А Терешкова-то, Терешкова! Наши – молодцы! Не просто первые, а всегда что-нибудь такое выдадут – каждый раз сенсация! В прошлом году сразу два "Востока" запустили, а в этом – уже не просто два, на одном женщина. Что-то дальше будет! – А помнишь, как этот в "Трех мушкетерах": эть-ть! – А как во второй серии Портос этого к колоколу подвесил! – А мадам Бонасье у них так себе, могли получше выбрать. Вот миледи – да! (Димка в знак согласия причмокивал и щурился.) – Миледи – да-а! Блондинка с черными глазами. Какая, говоришь, артистка? Милен Демонжо? – А читали в "Знание-Сила": изобрели приборы, дают прожигающий луч, как "гиперболоид инженера Гарина". – Об этом и в "Технике молодежи" было. Квантовые генераторы называются. Американцы этими лучами хотят ракеты сбивать. – А "Юность" вчера вечером слушали? Робертино Лоретти, "Джа-ма-ай-ка!", больше не поет. Ему шестнадцать лет, у него голос меняется. – Мне тоже шестнадцать было, а у меня голос ни черта не менялся. – Так меняется не тот голос, которым разговариваешь, а тот, которым поешь. – А какая разница?..»

Григорьев всегда покупал на вокзале свежие газеты. Димка и Марик читать их ленились, требовали, чтоб он пересказывал. А газеты тем летом интересны были необыкновенно. Особенно «Известия». (Говорили, потому, что редактор – зять Хрущева и ему больше всех позволено.) Почти в каждом номере – или биография уничтоженного при Сталине полководца, революционера, государственного деятеля, или статья, или рассказ о временах культа.

А в «Правде» шла полемика с китайцами. Те присылали очередное письмо, и наши его печатали. Огромные были письма. Начиналось всегда словами: «Дорогие товарищи!» И дальше, на целую газетную страницу – попреки, обвинения и ядовито-цветистая ругань. За то, что не хотим воевать с империалистами, капитулируем, сами обуржуазиваемся. Кончалось обязательно: «С братским приветом!» Вся другая страница – ответ нашего ЦК. Тоже «дорогие товарищи» в начале и «братский привет» в конце. Отповедь, полная достоинства, но с иронией. Было обидно, больно даже. Всегда дружили, всегда так хорошо говорили о Китае: наши братья, могучий шестисотмиллионный народ. В школу на праздники приходили китайские студенты. Тихие, улыбались смущенно. И вдруг – ненавидят. Ведь ненавидят же! За газетными строчками словно ревела бесконечная, брызжущая яростью людская масса. За что?!.. И гордость была: смотрите, всё печатаем. Ничего не боимся, наша правда!

А империалисты как будто взялись за ум. Подписали с нами договор о прекращении ядерных взрывов в воздухе, в океане и в космосе. Газеты и радио ликовали. Если бы испыта-

ния продолжались еще лет десять, война бы не понадобилась, вымерли бы все от радиации. Нет, что ни говори, а люди еще разума не лишились, даже американцы. Хоть у последней черты, но остановятся вовремя. Всё будет хорошо.

Они пили теплое горьковатое пиво из бумажных стаканчиков. Горячо и легко кружилась голова – от солнца, от пива, от простора…

Ты еще наивна, Аля. И не расскажешь тебе про лето шестьдесят третьего. Как с годами оно сперва отдалилось немного, но скоро, очень скоро – остановилось. Поток времени его обтекает, новые годы только сменяются, как цифры в окошечках счетчика, не увеличивая до него расстояния. И всё так же близко пылает над Финским заливом необычно жаркое солнце и смеются его друзья.

Оно и тогда тянулось с блаженной медлительностью, последнее лето их детства. Тянулось – и промелькнуло мгновенно. В конце августа они поступили на работу. Марик – фотолаборантом в проектный институт. Димка – в дом культуры художником-оформителем. Слегка гордился, черт, – как же, художник, пусть пока по лозунгам и стендам!

А за Григорьева решил отец. Еще весной, когда Григорьев дома объявил, что пойдет работать, а доучиваться будет в вечерней школе, отец посмотрел на него, посмотрел, но сказал только: «Тогда – ко мне в цех!»

Кадровичка, оформляя документы, ворковала: «Значит, сын? Смена подрастающая?..» Был привкус игры. Верхнее возбуждение: он поступает на завод, будет, как мужчина, зарабатывать деньги. А глубже – веселое спокойствие: всё любопытно, но для него – ненадолго.

Ждал, что его возьмут учеником токаря или фрезеровщика. На уроках труда в восьмом классе раз в неделю работали на станках, ему нравилось. Но отец отмахнулся: «Чертежником пиши его! У нас как раз Светка в декрет ушла!» И повел за собой из отдела кадров вглубь завода, по темноватым лестницам и переходам, навстречу неясно нарастающему шуму.

Цех, залитый неживым светом синевато-белых ламп, показался подводным царством. Среди тускло-масляных станков, исходивших железным гудом, колыхались серые, мягкие фигуры людей, и звуки отдавались здесь гулко, точно в плотной воде. Били бесконечной пулеметной дробью автоматические штампы, выплевывая, как отстрелянные, издырявленные стальные ленты. Слегка жёг ноздри и глаза кисловатый запах дымков от раскаленной стружки, испарений эмульсии, стекавшей на резцы, машинной смазки.

«Кабинет мой!» – объявил отец, входя в клетушку, открытую, как аквариум, стеклянной перегородкой цеху и всему цеховому шуму. Здесь едва помещались стол, заваленный чертежными «синьками», да шкафчик без дверок с инструментами на полочках. Рядом была клетушка ЦБД – цехового бюро документации, место самого Григорьева: стол с чертежной доской и два шкафа, набитых теми же «синьками» в растрепанных пачках.

Работа оказалась несложной. Из ОГК, отдела главного конструктора, приходили в ЦБД форматки-извещения – изменить размер детали, ввести дополнительное отверстие или паз. Григорьев поначалу удивлялся: всего-то поменять какую-нибудь резьбу М5 на М6, а столько слетелось подписей: разработал, проверил, утвердил, технолог, нормоконтроль, согласовано. Получив извещение, отыскивал в пачках нужную «синьку». По справочнику Федоренко и Шошина он в несколько дней научился читать чертежи. Ему нравилось из красно-фиолетовых линий на желтоватой бумаге вызывать перед собой деталь со всеми сложными формами, тяжестью и блеском металла. Он пытался угадывать причину изменений. Здесь – понятно, винты для надежности хотят покрупней поставить. Здесь – снизили класс чистоты на внутренней поверхности, к ней трудно подобраться. Тушью, аккуратненько, всё врисовывал на «синьку». В клеточки углового штампа вносил номер извещения, число изменений и не без удовольствия расписывался. Без его подписи – документ не документ! У него настоящая расчетная книжка: ученик-чертежник, оклад пятьдесят рублей.

Но привкус игры не мог заглушить появившуюся тревогу. Отец на работе с ним разговаривал коротко, только о делах – старший мастер с чертежником. Отцу было некогда, или не хотел показывать в цехе, что слишком опекает сынка. Словно нарочно кинул несмышленого в волны: ну-ка, сам плыви!.. Дощатая коробочка ЦБД покачивалась от гула и железных ударов. Тянуло вентиляцией. Сквозь веяние кисловатого металлического воздуха протекали то аммиачная вонь уборной, то табачный дым из курилки.

Вдруг распахивалась легкая дверь – кто-то из рабочих являлся за чертежами: «Светка! Корпус МТ6.542.008!.. Светка-а! Триста второй переходник! Пошустрей, в лоб твою мать!» Сквозняк часто доносил от них тошный запах перегоревшего во внутренностях вина. Григорьев уже видел, как по углам в раздевалках, почти не скрываемые, валяются пустые бутылки. Обычно восьмисотграммовые «Фауст-патроны», «Фаусты» (как называли их за отдаленное сходство с немецкой противотанковой гранатой) из-под самого дешевого – «рупь шестьдесят семь» – «Плодо-ягодного» или «Волжского».

Почему так неожиданны оказались обитатели этого мира? В плакатных-то рабочих, хозяев страны, с мужественными усами и сияющими взорами, в фартуках поверх белых рубашек, Григорьев, положим, и без того не слишком верил. Но ведь у него у самого отец – тот же рабочий. И у многих его приятелей. То ли раньше он встречал одних людей, а здесь были другие. То ли они становились другими людьми, когда по утрам собирались в раздевалках у своих фанерных шкафчиков, – невыспавшиеся, еще вялые, – натягивали вместо домашней одежды серые грязноватые спецовки, перебрасывались первыми хрипучими матюгами и точно темным электричеством заряжались друг от друга раздражением.

Когда они разъединялись по своим станкам, их работой можно было любоваться: поохотничьи пригнувшаяся фигура, напряженный взгляд на деталь, руки медлительно поглаживают, подправляют маховики подачи. Вдруг – резкое выпрямление тела, боксерские движения стремительно высвобождают деталь из зажима, взлетает в пальцах кинжальный блеск поверочного калибра или штангенциркуля. Бросок новой заготовки – и опять охотничья, выжидающая поза, только руки, мягкие, как щупальца, словно сами по себе отыскивают маховики и рычаги.

Но вот они сходились в курилке – и вновь сливалось и высоковольтно подскакивало темное напряжение. Григорьев слышал, как в их разговорах на все лады повторяется «мы» и «они». «Мы» – рабочие, а «они» – все остальные, кто только и думает, как рабочего «наебать». «Они» – это всё начальство, и мастера, и начальник цеха, и директор. У всех одна подлая забота – повысить нормы, снизить расценки и разряды. О Хрущеве в курилке рассказывали такие грубые и глупые анекдоты, каких Григорьев еще никогда не слыхал. Здесь ничего не боялись.

Но и их «мы» – немногого стоило. Между людьми в курилке словно не бывало ни дружбы, ни простой симпатии. Друг над другом они подшучивали так грубо и гадко, что Григорьеву казалось: вот-вот кто-то не выдержит оскорблений, вскинется – и начнется драка. Но все спокойно бросали окурки в жестяную ржавую урну, лениво поднимались и расходились к станкам.

«Светка сраная! Ты что ж мне комплект неполный дал! Где муфта восемнадцатая?!» Григорьев, дрожа от обиды, перерывал пачку «синек». С пожилыми рабочими было еще терпимо. Они, хоть и звали его «Светкой», и материли, но не издевались попусту. Им было на него наплевать. Устроил «старшой» сынка перебиться год до института – хрен с ним.

Зато цеховые подростки вцепились в него, точно дворовые щенки в домашнего котенка. Их ненависть была беспричинной, бессмысленной и потому ошеломляла. Их прыгающие лица сливались вокруг в одно размазанное, бледное лицо с водянистыми злыми глазами и ощеренным ртом. Это они придумали «Светку» и всячески, гадко выворачивали то, что предшественница Григорьева ушла в декретный отпуск. В тесном коридоре могли больно толк-

нуть, дать подножку. Григорьев яростно отругивался (научиться мату оказалось нетрудно), но силой отвечать не решался. Не только из-за того, что боялся всей своры. Из-за отца. Страшно не хотелось, чтобы отец узнал, как ему трудно. Он уже видел, как тяжело самому отцу.

Сквозь шум вдруг доносились громкие голоса из отцовской клетушки. Григорьев заглядывал туда – и холодом обжигал испуг: отец стоял в своей брезентовой куртке, похожей на военный китель (головка штангенциркуля в накладном кармане блестела, вздрагивая, на груди), стоял и КРИЧАЛ на какого-то рабочего, а тот кричал на отца (НА ОТЦА!), в чем-то его обвиняя. Что-то об инструменте, нарядах. Оба матерились. Отец в перебранке был словно меньше ростом, чем дома, с незнакомым измятым лицом… А немного спустя Григорьев видел: отец возле станков, как ни в чем не бывало, беседует с тем же рабочим, они что-то спокойно обсуждают, улыбаются. Неужели отец заискивает перед ними?

И всего тоскливей, ударом в сердце, отзывалось отцовское лицо, когда, заглядывая к нему, Григорьев заставал его одного над бумагами: напряженное и горько-отрешенное лицо, словно отец – один во всем свете.

Почему люди в цехе такие? Почему?!.. Григорьев пытался примерить их жизнь к себе. Он здесь временно, у него учеба, он скоро уйдет в институт. А эти люди – останутся. Если б ему самому знать, что впереди только работа за станком, шесть раз в неделю, с утра до вечера, всю жизнь… Что-то пугало. Не только грязь, шум и дурные запахи. Что же, что? Неужели сам труд этих людей?

Резьбу увеличить на миллиметр – думают шесть человек, специально выученных, у них справочники, расчеты. Этим же, собравшимся в цехе, остается только машинно исполнять. Они – придатки к рычагам своих станков, их мастерство – отлаженность механизма. Но ведь они – живые люди, с горячим мозгом, с человеческими нервами. Противоестественность получается, и сознают они ее или нет, – она их раздражает, она!

Почему же у нас всегда внушали и внушают, что рабочий класс – самый передовой, что он – творец истории? Какое творчество – быть механизмом?

Нет, так нельзя, и это, наверное, скоро кончится. Мы строим коммунизм, в Программе партии записано: стереть грань между физическим и умственным трудом. Конечно, земного рая с бесплатным изобилием мы не создадим, – это понятно. Только дурачки так коммунизм представляют. Но за двадцать лет, – теперь уже меньше осталось, семнадцать, – заводы обновятся, будут кибернетические станки, свет и чистота. Люди станут другими, отец не будет так уставать… Но еще до этого он сам уйдет отсюда. А отец – останется.

И вдруг – морозом в груди – обжигал испуг: чтоб вырваться отсюда, ему надо поступить в институт. А вдруг он провалится на экзаменах, не наберет нужные баллы?! Он закрывал плотнее легкую дверку ЦБД, раскладывал на чертежной доске свои учебники, зажимал уши от шума.

На вечернюю школу надеяться не приходилось. Они с Мариком и Димкой поняли это с первых занятий. Им еще повезло: их десятый класс состоял из ровесников, таких же парней и девушек, устремившихся сюда, чтобы сберечь год. Но вся вечерняя школа ошеломляла пестротой лиц и возрастов, особенно бросавшейся в глаза на переменах, когда все шумно вываливались из классов в коридоры и на лестничные площадки – курить.

Здесь стояли и вместе дымили рабочие-подростки, такие же, как у него на заводе, только без той, цеховой озлобленности (тут побеждало в них детское, озорное, школьное, до конца еще не истребленное в душах), и взрослые парни, отслужившие армию, иные и женатые, презрительные к допризывной мелюзге. А рядом солидно покуривали взрослые мужчины, тридцати и сорокалетние мастера, прорабы, начальники производственных участков, ремонтных служб, складов, гаражей, недоучившиеся в жизни и теперь спешно добирающие

пропущенную науку – не ради знаний, ради аттестата о среднем образовании, необходимого им по должности. Все они прошли блокаду либо эвакуацию, некоторые сами успели повоевать. Доносились обрывки их разговоров: «Да ну, ППД – не автомат! Его, как ни чистишь, он, сволочь, всё равно заест!..», «Сравнил тоже Говорова с Жуковым! Говоров – умница, солдат берег! Он, знаешь какую артподготовку делал: воронка на воронке, всё у немцев перемешает, и только потом – нас поднимать!..»

Учительницы в этой школе, отчаянные женщины, молодые, ироничные, за отпущенные им шестнадцать учебных часов в неделю умудрялись втискивать в головы своих учеников тот же объем материала, который в дневной школе проходят за тридцать шесть. Но учиться мешала усталость. Он впервые узнал ватную слабость и отупение после рабочего дня. Ощутил тревогу: может быть, зря ушли из дневной? И решимость: теперь, когда мосты сожжены, – только вперед! Рассчитывать – только на себя!

А лето шестьдесят третьего словно еще продолжалось. Уже не во внутреннем их состоянии, а как бы само по себе, принимая грозные черты. Никогда не было в Ленинграде такого знойного сентября. Город плавал в горячей духоте. И в эти дни, как ручейки пота, потекли слухи о небывалой засухе и хлебном неурожае. Смятение прокатилось по городу.

Возле булочных еще до открытия стали выстраиваться очереди. Он видел их утром, когда шел на работу. И днем, когда шел с работы. Он спешил на учебу, ему не приходилось стоять в этих очередях самому, выстаивала мать. И приносила невиданные батоны по десять копеек (вместо привычных тринадцатикопеечных) – с добавкой гороховой муки, зеленоватые на изломе, тут же каменно черствеющие. Жаловалась: два часа простояла. Отец говорил: «Ну что ты хочешь? Мы, ленинградцы, пуганые…»

Было что-то противоестественное во всем этом, нелепое, невозможное в атомный и космический век. Лица в очередях были пугающе непривычны. И в то же время странно знакомы, напоминали кого-то. Он вспомнил: такое же лицо было у отца на работе, когда тот оставался один. Люди в очередях тоже были словно отделены друг от друга, каждый – сам по себе, как последний, единственный человек, оставшийся на свете.

А вокруг шумели солнечные ленинградские улицы сентября 1963-го. Катились блестевшие цветным лаком изящные «Волги», проносились похожие на космические корабли красавцы-автобусы львовского завода – округлые, с зеленовато-голубым прозрачным верхом. Рабочие меняли баллоны в уличных автоматах газированной воды (три копейки стакан с сиропом, копейка – без сиропа). За стеклом киоска «Союзпечати» улыбались с цветной обложки «Огонька» Хрущев, Терешкова и Быковский. На домах ярко алели транспаранты с цитатами из речей Хрущева: «Коммунизм и труд – неразделимы!», «Цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!» Из приоткрытого окна пробивался на улицу с магнитофонной пленки голос Окуджавы: «Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами…»

И здесь же – эти молчаливые очереди, точно выползшие на асфальт из какого-то другого мира, который оказался так неожиданно близок.

3

Аля уже докурила сигарету почти до фильтра, но всё еще молчала. Смотрела вниз, на толпу, на автобусы. Из подкатившей к дверям аэропорта вишневой «Лады» выбралась женщина в светлом плаще. Подняла голову, точно почувствовав, что они смотрят на нее сверху, и вдруг – в белом и оранжевом сиянии светильников – показалась очень похожей на Алю: такая же тонкая фигура, темные волосы, темные глаза и темное пятно губ на бледном лице. Только вместо алиного раздражения – величавое спокойствие. Она скользнула взглядом по

Григорьеву и Але, потом отвернулась к своему спутнику – мужчине в кожаной куртке. Тот уже вытаскивал из багажника чемодан.

Когда эта пара прошла в стеклянные двери, Аля щелчком метнула вниз потухший окурок, норовя попасть в крышу «Лады», и бросила искоса мгновенный, презрительный взгляд на Григорьева. Он только поморщился. Лоб и виски наливались тяжестью, побаливали. Хорошо, если удастся заснуть хоть ненадолго в самолете. Иначе – плохо. Перелет длится четыре часа, да время там, куда он летит, на четыре часа вперед, – он окажется в сибирском аэропорту под утро. С первым автобусом – в город, на завод, и весь день мотаться на ногах. Только к вечеру доберется до заводской гостиницы. Вот уж тогда поспит…

Аля всё отмалчивалась. Как быть? Говорить с ней о чем попало, лишь бы поддержать разговор, в оставшиеся считанные минуты было рискованно. Придерется к чему-нибудь, рассердится. Хуже нет – улетать поссорившись.

– Может быть, позвонить тебе оттуда? Буду родителям звонить, и тебе заодно…

Чуть язык не прикусил от этого «заодно». Вырвалось же, черт побери! Но тут же подумал со злостью: а ничего, это тебе тест. Аля обернулась. Сейчас в ее лице не было раздражения. Блестящие темные глаза смотрели спокойно, точно из глубины.

– И что ты мне оттуда сообщишь? Сколько подписей на решении собрал?

У Григорьева неприятный холодок протек в груди. Значит, она пришла расставаться.

Они уже расходились один раз. Нынешней весной. Он отказался посещать ее компанию. Она с этим как будто смирилась. И на работу устроилась – в библиотеку геологического института. («Вот я и на службе! Ты доволен?») Зато при встречах стала вести себя странно. То – нежная, как прежде, покорная и вдохновенно страстная. То – холодно раздраженная: колкости, ледяной взгляд, мрачное молчание. Каждый раз по-иному, без всякой логики.

Он потребовал объяснений. Аля гордо заявила, что, в отличие от некоторых людей, она не одномерная. Она – человек со сложным духовным миром. У нее бывают разные состояния. Не настроения, а именно СОСТОЯНИЯ. И если она окажется в неподходящем для него состоянии, то что же делать? Истязать себя, чтоб только ему угодить? Это же будет фальшь!..

А после майских праздников его отправили в командировку по чужому старому прибору, серийному с девятьсот лохматого года. Замдиректора сам позвонил ему и, как он ни брыкался, – выпихнул: «Слетай, слетай на недельку, разберись!» На уральском заводе с этим прибором всё встало намертво, с начала года ни одной партии не сдали. А у них, в ленинградском НПО, проклятое изделие вроде никто и не вел. В лаборатории, за которой оно числилось, и людей сведущих не осталось: кто на пенсию вышел, кто уволился.

Тогда, к маю, у них с Алей только-только всё стало опять налаживаться. Она провела у него ночь, а потом полдня возилась на кухне, гремя кастрюлями. Суп сварила и приготовила какое-то особенное тушеное мясо с картошкой (правда, немного сожгла). И тут – пришлось в спешке улетать. Не дозвонился ей ни на работу, ни домой. Только и успел черкнуть и бросить в почтовый ящик открытку, что вернется через неделю.

А просидел в командировке – три недели! Всё оказалось запущено до маразма, не поймешь, как до сих пор этот чертов прибор вообще выпускали. Технические условия, техпроцесс и программа испытаний друг другу противоречат. Сборочным чертежом допущены конденсаторы трех типов, и два из них не подходят. И всё такое прочее.

Двадцать дней на заводе прошли, как в пелене. В семь утра, к началу первой смены, прибегал в цех, оттуда – в заводоуправление, к технологам, конструкторам, военпредам, в ОТК. Уговаривал, доказывал, спорил. И – снова в цех, уже до десяти вечера, до конца второй смены. Сам паял, сам измерял сопротивления, сам замешивал компаунд с отвердителем и заливал разъемы.

Да на беду, еще и городок вокруг завода был из «голодных». В продуктовых магазинах кроме хлеба – только пакостные консервы «Завтрак туриста», рыбный фарш с крупой. Три недели на завтрак и на ужин давился этим фаршем, намазывая его на хлеб. Обеды в заводской столовой были не лучше: на первое – водянистый суп, на второе – что-нибудь вроде куриных костей с макаронами. Впрочем, выматывался так, что есть почти не хотелось.

Его соседями по номеру в заводской гостинице были два снабженца-толкача, ожидавшие, когда изготовят и отгрузят какие-то комплектующие детали. Но детали для них всё не делались, толкачи слонялись без толку, много пили и время от времени звонили на свои заводы: чтобы им продлили командировки и выслали еще денег.

Сам Григорьев почти каждый день звонил в Ленинград родителям. Обычно от главного технолога или из приемной главного инженера, там аппараты имели выход на междугородную связь. Быстро спрашивал у отца или у матери, как дела. (Подразумевалось только одно: как у отца с сердцем? Если в ответ говорили о чем угодно, а про это не вспоминали, – значит, уже нормально.) Коротко сообщал, что у него тоже всё в порядке, и вешал трубку.

Личные звонки со служебных телефонов, конечно, были запрещены. Да и вообще, все междугородние разговоры записывались на магнитофон, а потом прослушивались в группе режима. Противно становилось от мысли, с какой физиономией будет изнывающий от скуки режимник слушать его ежедневные однообразные вопросы и такие же ответы родителей. А в общем – плевать. Режимников беспокоило только разглашение секретных сведений. Что они могли ему сделать? Ну, в крайнем случае, заставили бы все звонки оплатить из своего кармана.

Он и Але пытался дозвониться. Но по будним дням ни самой Али, ни ее родителей дома не было, а к ней на работу, в библиотеку – никак не мог попасть. Видно, неисправность там была на АТС или с аппаратом. Вечерами же позвонить ей домой никак не получалось: заводоуправление было уже закрыто, а сам он сидел в цехе, где телефон только местный. А в выходные – не только в заводоуправление не пускали, но и единственное почтовое отделение городка с переговорным пунктом было заперто. Впрочем, все выходные дни он тоже проводил в цехе.

Соседи-толкачи сильно уважали Григорьева. Утром он уходил на завод, когда они еще спали, а вечером возвращался, когда они уже опять храпели, пьяные. Но для него они почти всегда оставляли на столе стакан вина или полстакана водки – знак восхищения тружеником. Делать было нечего: выглатывал, закусывал куском булки, намазанным «завтраком туриста», и заваливался спать.

И расшевелил-таки, столкнул дело. При нем испытали и сдали, наконец, первую партию приборов. Только никакой радости он не почувствовал. За эти три недели своя собственная работа, в Ленинграде и на других заводах, была запущена так, что не скоро расхлебаешь. Да с собой увозил протоколы: НПО в такие-то сроки должно откорректировать документацию по прибору, сделать то, сделать сё. А какое, к черту, НПО? Это ему, Григорьеву, теперь тянуть, вдобавок ко всей прежней своей хворобе! А уж о том, что за три недели ни строчки не написал, и подумать-то об этом было некогда, – что и говорить…

Добрался до дома и кинулся звонить Але. В трубке – холодный голосок: «Прилетел? Так скоро?» Умолил: приезжай! Унижался перед ней, только бы не оставаться сейчас одному. Появилась в его квартире – тоненькая, в джинсах и клетчатой ковбоечке. Он кинулся к ней, схватил – целовать. Расстегнул легкую ковбоечку, под которой только белая маечка – и всё, нежное, томящее тепло и запах ее тела. Она выскользнула, как змейка: «Не смей! Не трогай меня!»

Отшатнулся от нее, сел. Она стала расхаживать перед ним, не застегивая распахнутую на груди ковбоечку, слегка поворачиваясь туда-сюда, словно для того, чтобы он мог лучше оценить, как сидят на ее фигурке тугие джинсики. Стала опять говорить о том, что, вот, он

улетел, почти месяц ни слуху, ни духу. Вдруг – свалился, как снег на голову, набрасывается и требует немедленной женской реакции. У нее за это время были периоды, когда она тосковала по нему и, кажется, всё бы отдала, только бы его увидеть. Но сейчас у нее как раз такое состояние… Нет, не крайнее, когда она в противофазе ему, но – промежуточное, переход…

Он следил за тем, как она ходит, поворачивая туда-сюда джинсовым задиком, слушал, слушал, и всё разъярение, что скопилось в нем, тяжело поднималось вскипевшей массой. Этому нельзя было дать прорваться, но – прорвалось. Он вскочил, замахал руками, затопал и заорал, не помня себя, на нее, сразу съежившуюся: «Дура! Это всё от безделья твоего проклятого! Дура! Циклотимичка!» Орал до тех пор, пока не хлопнула за ней дверь квартиры.

Его трясло. Думал, что долго не сможет успокоиться. А успокоился – почти сразу. Может быть, оттого, что прокричался, разрядился. Все беды, в том числе потеря Али, в один миг ощутились необратимыми и как-то подровнялись. Даже сильным себя почувствовал: живем дальше, с нового старта!..

Улетел в новую командировку, вытаскивать свои запущенные дела. Об Але вспоминал толчками, всплесками. Первый – самый болезненный, тоска… Потом – послабее. И еще, еще, по затухающей. Ничего. Прав Хемингуэй: врут и те, кто говорит, что не могут без женщины обойтись, и те, кто говорит, что женщина им вообще не нужна. Есть хорошая женщина, – конечно, не можешь без нее обойтись. А нет, так нет. Обходишься. До следующей.

А в один прекрасный день, в конце июня, возвращаясь с работы, он увидел у своего дома мрачно караулившую Алю. Молча подошла, хмурая, и ткнулась ему в плечо головой, точно боднула.

Потом она опять хозяйничала в его однокомнатной квартирке, где у него всё было вычищено, выметено, разложено по местам. (Он любил порядок. Если не был в отъезде, каждую неделю устраивал приборку, это и нервы успокаивало.) И, как всегда с ее вторжением, всё слетало со своих мест, всё перепутывалось. Она требовала, чтобы он сбегал в магазин за уксусом (опять затеяла какое-то необыкновенное жаркое), и упускала шипящий кофе на плиту, и долго плескалась под душем в ванной.

А потом, в постели, прильнув к нему нежным прохладным телом, смеясь, рассказывала, как он тогда испугал ее своим криком, и как доконала ее «циклотимичка». Она не знала, что это такое. На филфаке не проходили.

Он слушал ее и даже тосковал. Так хорошо расстались, лучше не придумаешь. И вот – начинай сначала… А что делать? Раз впустил ее, уже не выгонишь. Да нарочно такие штуки и не получаются.

А она всё говорила, винилась, кляла себя. Болтала, болтала – и доболталась-таки до того, что стала уже его обвинять: как он тогда посмел!.. Он и это проглотил молча. Не затевать же сразу всё по-новой.

Когда утром уходил на работу, она еще спала, завернувшись в простыню, личиком в подушку (было жарко, лежали без одеяла). Только выглядывала всклокоченная темноволосая головка, да маленькие детские пяточки трогательно торчали из-под простыни. И в ритме ее спокойного дыхания словно дышала вся его перевернутая вверх дном квартирка, слегка втягивая и выдыхая через колышущуюся занавеску нагретый асфальтом воздух.

А тогда, в 1963-м, осенью, жара наконец спала, опустилось над простором набережных пасмурное небо, город остудили привычные дожди. Потемнел асфальт, потускнели золотые шпили. Ярче стали, увлажнившись, парадная желтизна знаменитых фасадов и белизна колонн, – и всё встало на место.

В дождевой мороси растаяли, как не было их, очереди к булочным. Там исчезли с полок зеленоватые гороховые батоны, вернулось привычное хлебное обилие. Гулял очередной злющий анекдот: «Хрущеву присудили Нобелевскую премию по сельскому хозяйству

за небывалый эксперимент: посеял пшеницу на целине, а собрал – в Канаде». Хрущев в очередной речи огрызнулся: «А чего ж хотели? Чтоб мы, как Сталин и Молотов в сорок шестом – сорок седьмом, за границу хлеб продавали, когда в стране голод был?» Вот как. Оказывается, в годы их рождения голод был…

И с учебой всё постепенно наладилось. Началось с того, что вдумчивый Марик-Тёма объявил: «По закону Ильфа-Петрова, спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» И рассчитал, сундук математический, по часам всю их неделю. Согласно трудовому кодексу, они, подростки, не достигшие восемнадцати лет, работали по шесть часов. Занятия в вечерней школе проходили четыре раза: в понедельник, во вторник, в четверг и в пятницу. Как учащимся без отрыва от производства, им полагался на работе дополнительный выходной. Все трое оформили его на среду. Итого, получалось для домашних занятий два полных дня – среда и воскресенье. Да еще полдня после работы в субботу.

Марик установил: в среду в первую половину дня и в субботу вечером каждый готовит уроки и занимается самостоятельно. А вечером в среду и утром в воскресенье они занимаются вместе, подтягивают друг друга, кто в чем горазд. Для отдыха – вечер воскресенья.

Марик должен был отвечать за подготовку по всей математике – алгебре, геометрии, тригонометрии. Григорьев – за физику, химию, историю, литературу и русский язык. Димка, вроде, ни за что не мог отвечать, учился на тройки. К точным наукам он вообще относился пренебрежительно: знал, что выпускные экзамены в вечерней школе как-нибудь проскочит. Но в институте живописи ему предстояло сдавать сочинение, да еще историю.

Собирались у Димки. По тогдашним коммунальным временам он жил просторней всех: в большой – тридцать пять квадратных метров – комнате, вместе с матерью и старшей сестрой. Комната была разгорожена на две части огромным старинным шкафом и приставленной к нему раскладной ширмой. За шкафом спали мать и сестра. В димкиной, передней половине комнаты стояли его железная кровать, круглый обеденный стол, за которым они занимались, и в углу – тумбочка с телевизором.

Всю жизнь будут помниться эти занятия. Лампа под розовым матерчатым абажуром с бахромой, учебники и тетради на вытертой клеенке в поблекших цветочках. И постоянная усталость. И чувство тревоги (деваться некуда, надежда только на себя!), обострявшее утомленный мозг.

Начинали всегда с самого трудного – с математики. Марик проверял уроки, объяснял непонятное. Потом то же самое делал Григорьев по физике и химии. Под конец они с Мариком решали дополнительные задачи, а Димка занимался историей и литературой, зубрил правила синтаксиса.

Димке трудно было усидеть на месте. Его крепкое тело не выносило неподвижности. Он ворочался, гримасничал, дразнился (недовольный Марик хмурился). Но понемногу и Димка втянулся в занятия. Особенно после того, как Григорьев устроил ему несколько диктовок и в каждой безжалостно красным карандашом отметил все пропущенные и неверно поставленные запятые и дефисы.

Мать Димки, Александру Петровну, они видели всего несколько раз, мельком. Она работала на заводе в разные смены, да еще где-то подрабатывала уборщицей, почти не бывала дома. А когда и была, проходила мимо них молчаливо, боком, неприветливая, неразговорчивая. Может быть, просто очень усталая.

Григорьев тогда почти не запомнил ее лица. Теперь только и вспоминаются темная сухонькая фигурка да странный, легкий керосиновый запах, который она приносила с собой. Потом он узнал, что это запах растворителя – уайт-спирита. Александра Петровна промывала в нем детали перед гальванической обработкой.

Димка мать любил. Его ернический тон менялся при ее появлении, зеленые глаза серьезнели и улыбка, приоткрывавшая веселые волчьи клыки, исчезала. Разговаривал с ней негромко. Если она что-то поручала, коротко соглашался: «Сделаю, ага!»

Сколько же ей тогда было? Всего-то сорок шесть, возраст «бабьего лета». Но она казалась им старушкой. Она вся была словно высохшая пустая кожица, полностью отдавшая жизненные соки своим ярким, налитым детям: Димке и его сестре – Стелле.

Когда они в первый раз явились к Димке заниматься и Григорьев впервые увидел Стеллу, она показалась ему некрасивой. Невысокая. Бледное личико с тонким носиком. Глаза – выпуклые, зеленые, темнее, чем у Димки, иногда кажущиеся почти черными. Губы полягушачьи крупноваты для этого лица, нижняя губа – чуть раздвоена. Темные волосы зачесаны назад и собраны по моде короткой толстой косой. Непропорциональная фигурка – тонкая, стройная вверху и с избытком тяжеловесная ниже талии.

Она встретила их насмешливо: «Ма-альчики пришли! Учи-иться!» И глаза ее остро скользнули по лицам Григорьева и Марика.

– Давай, давай, топай к себе! – прикрикнул на сестру Димка.

– Мне же интересно, какие у тебя друзья!

– Будешь мешать, я вот ему усы подрисую! – Димка указал на приколотую к обоям фотографию красавца-певца Муслима Магомаева, вырезанную из «Огонька».

– Только попробуй, тронь! – презрительно бросила Стелла и ушла на свою половину комнаты за шкафом.

Григорьев знал, что Стелла на шесть лет старше Димки, что ее настоящее имя – Сталина, что работает она продавщицей в галантерейном магазине и что ее отец, первый муж матери, погиб на фронте. (О своем отце Димка вообще ничего не рассказывал. Однажды только прорвалось: «Сбежал, сволочь! Наверное, до сих пор где-то от алиментов прячется. Мать нас одна вытащила…»)

Казалось, Стелла почти не обращает на них внимания. Когда они начинали заниматься, она обычно уходила к себе за шкаф. Иногда сидела там тихо. А иногда вдруг включала проигрыватель, и в комнате раздавалась мелодия какой-нибудь модной песенки.

– Выключи! – прикрикивал Димка. – Мешаешь!

Но Стелла только убавляла громкость, и всё равно им приходилось слушать то Кристалинскую, то Магомаева, то Анофриева. Чаще же всего ставила она свою любимую пластинку – «Чучарелла». Ритмичная, звонкая мелодия. Женский голос пел вначале по-итальянски, затем по-русски, а Стелла тихонько (но все-таки слышно) подпевала:

Шагай, шагай, шагай, мой Чучарелла,
Мой ослик белый, иди вперед!
Звени, звени, звени, бубенчик, смело,
Никто не слышит, никто не ждет!
Ушел от нас любимый, синео-окий,
Ушел и не вернется никогда…

Димка, злясь на сестру, вставлял вполголоса в рифму грубое слово. Марик с безучастным лицом сидел над учебником. А Григорьев напряженно прислушивался к тому, что происходит за шкафом: к легким шагам Стеллы и звукам ее голоса.

Он сам не помнил, как пришло это смятение, но оно пришло, не сравнимое ни с чем, испытанным до той поры. Не сравнимое с приятным волнением, которое вызывали ровесницы, одноклассницы, похорошевшие и оформившиеся к своим шестнадцати-семнадцати годам.

Это новое было темным, горячим, грозным. Оно оживало где-то внутри, низко, и поднималось густым, жарким током, стесняя сердце и дурманя голову. Он шел на занятия к Димке взбудораженный: увидит сегодня Стеллу или нет. Испытывал тоскливое облегчение, если ее не было. И почти физическое удушье, когда она, подбоченясь, встречала их в комнате, оглядывала темными блестящими глазами и выпевала свое насмешливое: «Ма-альчики!»

Он старался не смотреть на нее. Он с ней почти не разговаривал. Но впервые пробудившимся шестым чувством, тем, которое впоследствии стал для себя называть «сверхчутьем», очень скоро ощутил с отчаяньем, что Стелла улавливает его напряжение. Он словно выдал себя.

Ах, как ему было стыдно! Ведь это не любовь, это просто физиология, животная похоть, а она – СЕСТРА ЕГО ДРУГА. Как можно испытывать к ней такое!

Было стыдно вдвойне еще и потому, что перед ней он чувствовал себя мальчишкой. Его не могло возвысить в собственных глазах даже то, что вскоре он ощутил: всё, что Стелла делает теперь в его присутствии, – ходит по комнате, говорит, включает музыку, – немного рассчитано и на его внимание. Он понимал: это не потому, что он ей нравится. Просто ей необходимо всё делать не только для себя, но и для кого-то еще, а здесь «кто-то» – только он. Марик для нее совсем не в счет.

А по-настоящему – и он был не в счет. Она жила в своем, взрослом мире, куда он не мог проникнуть. Мог только безнадежно следить за ней, словно подглядывая, и оттого испытывая еще больший стыд.

С махровым полотенцем через плечо Стелла проходила к двери мимо них, сидевших над учебниками. И, презирая себя, он тайком вслушивался, как за стеной, в ванной, гудит газ в колонке и плещется вода. Стелла возвращалась в легком халатике, облепившем еще влажное тело. Шлепая тапочками на босых белых ножках, скрывалась за шкафом. Возилась там, напевая. И вдруг – появлялась…

Он мгновенно схватывал взглядом ее всю: волосы были гладко зачесаны, большие губы сочно накрашены, подведенные глаза влажно блестели, темные брови были сведены словно с угрозой, и всё промытое, напудренное личико светилось какой-то решимостью. На ней была газовая блузка, чуть приподнятая маленькой грудью. Сквозь полупрозрачную ткань просвечивали голые плечи, складки подмышек и что-то розоватое или голубое – какие-то бретельки, тесемки, кружева. Осиная талия была схвачена широким пояском. Тугую юбочку нестерпимо откровенно распирали слишком тяжелые для ее фигурки бедра. Поблескивающие капроновые чулки переливались на стройных ножках, и вся она была стремительно приподнята каблучками-шпильками черных лакированных туфелек.

Стелла проходила мимо их стола, овевая тревожно-сладкой волной духов. Бросала пренебрежительно: «Пока, мальчики!» Димка только морщился. Марик, привставая, вежливо кивал. А он – выдавливал тихое «до свиданья», успевал еще мучительно заметить, как слегка колышется, словно не поспевая за походкой Стеллы, ее налитой, обтянутый короткой юбкой зад, и дверь комнаты за ней захлопывалась. Еще несколько секунд было слышно, как она возится в коридоре, надевая пальто. Затем хлопала дверь квартиры.

«К хахалю пошла!» – равнодушно комментировал Димка. Григорьев ниже склонялся над тетрадями, прятал глаза, словно съеживался от чувства собственной ничтожности. В сотый раз клялся себе, что больше вообще не посмотрит на Стеллу («Дурак, мальчишка, знай свое место! Вот, пиши свои окислительно-восстановительные реакции!»). Но воображение не повиновалось, жгло язычком огня: он представлял, как Стелла идет рядом с красивым парнем, взрослым, из ее мира. Тот шутит с ней, смеется. А вот, – при этих мыслях сердце сжималось, – охватывает ее за талию, притягивает к себе – и целует, сильно, властно. Конечно, только целует. Ничего другого не может быть, не может быть!

А потом настал тот воскресный вечер. Они сидели, занимались. Стелла нарядилась и ушла. Но вернулась неожиданно быстро, какая-то сумрачная. Они как раз закончили занятия и включили телевизор. Для них пришло время отдыха, несколько считанных часов за всю неделю, когда можно расслабиться, отдышаться. А по телевизору в тот вечер показывали самый знаменитый фильм 1963 года – кинокомедию «Деловые люди» по рассказам О'Генри. Они уже смотрели ее в кинотеатре, летом, когда она только появилась.

Вытащили стулья из-за стола, уселись в ряд. Марик оказался у стены, Димка – в центре, а он, Григорьев, – с краю. Погасили верхний свет, горела только настольная лампа. В комнате было полутемно.

– Сядь, посмотри! – сказал Димка сестре. – Обхихикаешься!

Стелла ничего не ответила. Медленно прошла к себе за шкаф, и Григорьев слышал, как она там ходит, словно в раздумье. Несколько легких шагов в одну сторону, потом – в другую… Вышла из-за шкафа, постояла за их спинами. (Шел первый, мрачноватый сюжет: Акула-Додсон, наставив револьвер на своего приятеля, объяснял ему, что «Боливар не вынесет двоих».) И опять понуро побрела на свою половину комнаты. С ней творилось что-то непонятное.

Потом она появилась снова. Нерешительными, какими-то заплетающимися шажками стала приближаться. Остановилась позади Григорьева, чуть сбоку. Взялась рукой за спинку его стула. Он обернулся, но она неподвижно смотрела мимо него, в телевизор. Глаза ее блестели в полутьме, она тяжело дышала приоткрытым ртом.

Он отвернулся к телевизору. (Там, на экране, шел второй сюжет: страдающий от ревматизма гангстер, Никулин, пришел грабить богача-ревматика – Плятта. Димка и Марик посмеивались.) Он сделал вид, что тоже поглощен фильмом, хотя сам уже почти не следил за действием. Он встревоженно ощущал непонятную близость Стеллы у себя за спиной, поворовски вдыхал теплый аромат ее духов и пудры.

Вдруг она странно потянулась вперед, как будто для того, чтоб лучше видеть телевизор. Склонилась сзади над его плечом (щеку овеяло ее дыхание с запахом помады). Тут же, словно спохватившись, отстранилась. Переступила с ноги на ногу. Как-то медленно, словно нехотя, стала склоняться снова. И вдруг – слегка прижалась грудью к его плечу…

Его залило жаром, у него загорелось лицо (какое счастье, что было полутемно, а ребята не отрывались от экрана!). Всё поплыло вокруг, всё стало нереальным, кроме одного – ее прикосновения. Всем существом он сосредоточился в одной точке – там, где к его плечу притрагивалась ее грудь, левая грудь. Сквозь свою рубашку, сквозь невесомую ткань ее блузки и плотный лифчик он чувствовал этот поразительный холмик плоти – горячий, крепкий и нежный. Чувствовал, как часто-часто бьется ее сердце (а его собственное бухало в ответ так, что отдавало вверх к горлу, стесняя дыхание).

Стелла прижалась грудью чуть сильней. Ослабла. Снова чуть прижалась… Со стороны ее движения вряд ли были вообще заметны (просто склонилась, просто смотрит фильм), но он чувствовал, что эти прикосновения, как электрические разряды, пронизывают всё ее напрягшееся тело. Он окаменел, взвихренным рассудком соображая только одно: он должен делать вид, что ничего не замечает. Для нее, для нее!

А Стелла уже не пыталась сопротивляться тому, что ее подталкивало. Ее движения, умоляющие и требовательные, обрели нарастающий ритм. При каждом прикосновении она слегка вздрагивала, ее дыхание всё учащалось. Она словно взлетала над ним, отчаянно, с трудом, но всё выше, выше…

И вдруг – она задрожала всем телом, шумно и прерывисто задышала. Он даже расслышал сдавленный стон, вырвавшийся у нее сквозь стиснутые зубы… Обмякла. Постояла, привалившись к нему, еще немного. Оторвалась – и медленно, невесомо ступая, отошла.

На экране Вождь Краснокожих, мальчишка-дьяволенок, издевался над Вициным и Смирновым, двумя незадачливыми жуликами, которые его похитили. Димка и Марик хохотали. Стелла неподвижно стояла где-то в стороне. А он сидел смятый и оглушенный. Он не всё понял из того, что произошло, но и понятое – потрясало.

Неужели Стелла может его… ну, пусть не любить, но желать так же остро, как он желает ее? А почему бы и нет? Он уже не мальчишка, ему скоро семнадцать, через год с небольшим он получит право жениться. Неужели, неужели ЭТО возможно для него СО СТЕЛЛОЙ? Он будет обнимать ее, целовать, лежать рядом с ней, обнаженной. Лежать на ней… Кровь била в висках, голова кружилась. Он со страхом ждал момента, когда фильм кончится и он снова увидит Стеллу при свете.

Вицин и Смирнов улепетывали от проклятого мальчишки в сторону канадской границы. Истекали последние секунды. Димка и Марик от хохота раскачивались на стульях.

Вдруг – ударом по глазам – вспыхнул верхний свет. Его зажгла Стелла. Она стояла в темном домашнем халате (успела переодеться за шкафом), спокойная и строгая.

– Мальчики, чай будете пить? – спросила она дружелюбно и вместе с тем равнодушно, как бы выполняя необходимую обязанность хозяйки. – Тогда я чайник поставлю.

«Ничего не произошло, – понял Григорьев. – Ничего не было». С мгновенной тоской он вновь ощутил свою ничтожность перед ней. Ничтожность мальчишки.

– Спасибо, – сказал Марик, – поздно уже, мы пойдем. – И сделал ему знак: – Собирайся!

Он поднялся, отводя глаза. Тоже пробормотал что-то про позднее время. Но не выдержал, взглянул прямо в лицо Стеллы и встретил ее ответный взгляд – не насмешливый, чего больше всего боялся, а какой-то странный, сочувственный.

– Спасибо, – это вырвалось у него невольно, хотя прозвучало к месту, словно вслед за Мариком он благодарил за предложенный чай.

Уже одевшись, прощаясь, он снова повторил ей: «Спасибо!» И поклонился, в самом деле переполненный чувством благодарности. И стыда. И непонятной вины перед ней…

А была с ними Стелла в тот вечер, когда они справляли поминки по Джону Кеннеди? Кажется, нет. Они сидели втроем. Это Димка порушил занятия: «Какая учеба, когда такое творится! А ну, гоните монету!»

Они выскребли из карманов всю мелочь, Димка сбегал в магазин и принес «фауст» «Волжского» вина.

Их в самом деле потрясло невероятное двойное убийство: сначала президента Кеннеди, а через день – его предполагаемого убийцы Освальда. Их потрясло то, что Освальда застрелили на глазах миллионов американских телезрителей, а у них, в Советском Союзе, все снимки событий появлялись в газетах уже на следующее утро (каким маленьким стал мир!).

Они пили вино из чайных чашек и обсуждали случившееся, разгоряченные, взбудораженные. Всё слилось: напряжение работы и учебы, тревожное приближение экзаменов, ошеломление трагедией, разыгравшейся на другом конце света и в то же время так близко. И чувство нашего превосходства над Америкой: «Они там совсем с ума посходили!» А для него, Григорьева, – еще и любовь к Стелле. (Конечно, это была любовь. Потом он поймет, что только такой – стыдной, вожделеющей – и могла быть первая любовь подростка к взрослой девушке.)

Всё расплавлялось в восторженном возбуждении, в ощущении собственной силы, в предчувствии счастья. Они вступали в мир свидетелями и участниками великих событий.

А нынешнее лето 1984-го выдалось в Ленинграде обычным. В меру солнца, в меру дождливых дней. В июле Григорьев взял отпуск. Уезжать никуда не собирался, наездился в

командировках. А главное – не хотелось лишний раз отлучаться из-за отца. Выручил приятель, живший в Мельничном Ручье. Он отправлялся отдыхать на юг и предложил поселиться на это время у него. «Скотину мою покормишь, вот и будем в расчете!»

Так Григорьев очутился в его домике в лесу. В окошко выглянешь, – кажется, попал в глухую чащобу. А на самом-то деле, всего минут пятнадцать ходьбы до станции, от которой до центра города – полчаса на электричке. Самое главное, в домике был телефон. С пятизначным всеволожским номером, но с автоматическим выходом в Ленинград. И Григорьев звонил своим старикам дважды в день, утром и вечером. Отец неохотно говорил о самочувствии. На обычный вопрос: «Ну, как дела?» – ворчливо отвечал: «Ничего, спасибо. А у тебя как?» (Впрочем, это было хорошим признаком.) Григорьев подробно докладывал о погоде в Мельничном Ручье, как будто их с отцом разделяли не два десятка километров, а целый климатический пояс Земли.

Потом он сидел возле домика, разложив на дощатом неровном столе свои рукописи. Сквозь лес доносился стук электрички. У ног его отдыхала накормленная «скотина» – большой, лохматый, дворняжьей породы пес Бобслей и тоже крупный рыжий, короткошерстный кот Кузя. Два приятеля. Они грелись рядом на солнышке. Что-то урчали друг другу – беседовали.

Вместе они и шкодничали. (Верховодил, конечно, хитрый Кузя, простодушный Бобслей его слушался.) Притягивал их небольшой холодильничек «Ладога» на веранде. Холодильник стоял на табуретке – специально для того, чтоб звери не достали. Но они ухитрялись залезать в него, и Григорьев подглядел сквозь стекла веранды, как они это проделывают. Бобслей вставал у табуретки, Кузя запрыгивал ему на спину, лапой открывал дверцу холодильника и выкидывал оттуда на пол всё, что находил достойным внимания. После каждого такого визита Григорьев подбирал то погрызенный кусок колбасы, то растерзанный пакет масла. Даже не съедали толком, ведь сытые же были, твари бессовестные!

Григорьев обвязал холодильник веревкой, но лекарство получилось хуже болезни. Однажды, когда он сидел во дворе, на веранде раздался страшный грохот, а за ним – отчаянный визг Кузи, испуганный лай Бобслея. Оба кубарем скатились с крыльца и стрельнули в разные кусты. Григорьев вбежал на веранду: холодильник валялся на полу.

Он взгромоздил его обратно на табурет. Включил в розетку, послушал. Холодильник работал. Недаром на нем был выштампован советский «знак качества».

Григорьев отыскал в хозяйстве приятеля огромный гвоздь. Вбил в стену, загнул. И, обмотав холодильник веревкой, крепко привязал к этому крюку…

А потом к нему на несколько дней приехала Аля. Он сам ее позвал, и ждал с нетерпением, и явилась она, вроде бы, в хорошем настроении. Но он быстро понял, что совершил ошибку. Не следовало ей появляться здесь.

Им никогда еще не приходилось быть вместе так подолгу, целыми днями только вдвоем. И очень скоро оказалось, что им как будто не о чем разговаривать. Она снова стала раздражаться, опять упрекала его за то, что он неинтересно живет и скучно пишет. И опять он беспомощно оправдывался: «Но это – МОЯ ЖИЗНЬ!..»

По ночам, в отместку за дневные унижения, он порой ласкал ее грубо, почти со злостью, чтобы измучить, обессилить. А когда она засыпала рядом с ним, долго всматривался в ее лицо: тени утомления под глазами, словно от опущенных длинных ресниц, распухшие от поцелуев детские губы. Трогательная, беззащитная порочность девочки-женщины.

Он оберегал ее сон, недолгое чудо. О будущем лучше было не задумываться. С недавних пор, как проникавшую в кровь кислоту, – признак близящейся старости, что ли, – стал он ощущать в себе непрошенную, едкую способность предвидения. Узнав человека моложе себя, он представлял уже его судьбу вперед – до своих лет, во всяком случае. В судьбе Али вперед было много печального. И невозможно было сказать ей об этом так, чтобы она

поняла. А может быть, она и сама всё предчувствовала, и не надо было ей предупреждений. И, всё понимая, она всё готова была принять, потому что это – ЕЕ ЖИЗНЬ…

4

Когда Аля упрекала его в том, что он не способен «любить по-настоящему», Григорьев отмалчивался. Да и что он мог ответить? По-настоящему любил он в жизни, наверное, только жену.

Впрочем, что вообще означает глупое «по-настоящему»? Стереотип истинной любви, внушенный искусством, подразумевает безрассудство и страдания. С женой у него было достаточно и безрассудств, и страданий. С того самого часа, когда он впервые увидел ее в сентябре 1964-го, в первый день занятий в своей институтской группе. Высокая, с округлой воздушной короной тонких русых волос, с большими, яркими голубыми глазами и бледным красивым ртом, – она показалась ему ослепительной. Она была куда эффектнее Али. Даже и теперь, через двадцать лет, несмотря на возраст, она бы выиграла в сравнении с Алей. Во всяком случае, Аля в свои тридцать девять не будет так величаво хороша и заметна, как его бывшая жена.

Это сейчас он мог спокойно думать о ней и с кем-то сравнивать, а тогда его просто восхищало в ней всё – чудесные, плавные и в то же время строгие линии фигуры, медлительные движения, лучистая рассеянность взгляда, и само имя ее – Нина, мелодичное, как струнный аккорд.

Нина сознавала свою красоту. Во всяком случае, он заметил: она смущается того, что, как ей кажется, к ней не идет. Она была близорука, но очки надевала редко и всегда торопилась их снять и спрятать. А ему она казалась в очках по-особенному, трогательно красивой. На лекциях он искоса подсматривал за ней, склонившейся над конспектом, и обмирал от нежности.

Нина его еще и не разглядела, наверное, среди остальных первокурсников, а он был уже так переполнен своим тайным восторгом, что, когда в том сентябре 1964-го пришел к Димке, то увидел Стеллу почти без былой муки.

Впрочем, встреча у Димки вышла невеселой. Собирались отмечать поступление, да вот они-то с Мариком поступили – Марик в Радиотехнический на вычислительную технику, Григорьев в Физико-химический. А Димка в институт живописи – провалился…

Кажется, впервые они, не смущаясь, как взрослые, открыто купили «фауст» вина. Стелла сварила им картошки. Они сидели за столом, и Димка, хмуро усмехаясь, рассказывал:

– Конкурс был – на двадцать мест пятьсот человек. Со всего Союза же! На первом собеседовании надо свои работы показывать. Собралась нас – толпа. У других, вижу, пейзажи, портретики. Мне всё кажется: как здорово! Что мои карикатурки против них!.. Пошли. Сидят экзаменаторы. Кислые, словно по куску лимона сосут. Как начали нам головы отшибать! Как цыплятам! «Не можем допустить, нет элементарной техники. Еще поготовьтесь, позанимайтесь в изостудии!» Ребята один за другим отползают. Парни – красные, у девчонок слезы. И я замандражил. Первый раз понял, что это такое – пот холодный по спине течет и коленки ды-ды-ды! Сунул им свой альбом «Двенадцать стульев…» – Димка усмехнулся, чуть оскалив белые волчьи зубы. – Ржали, гады, только ногами не дрыгали. И друг дружке совали, и утаскивали кому-то показать. Я – отогрелся. Так вас, думаю! Знай наших!..

Осталось нас после собеседования уже человек двести. Стали домашние задания раздавать – акварель на ленинградскую тему. Парню передо мной «Атланты» достались. А на меня экзаменатор смотрит – пожилой такой, седой, но веселый. Морда и глаза красные. Видно, поддает хорошо. Улыбается, гад, мои рисунки вспоминает. «Скажите, Перевозчи-

ков, вам какое место в нашем прекрасном Ленинграде больше всего не нравится, как художнику?» – Я возьми да и ляпни: «Исаакиевский собор!» – «Почему?!» – «А он, – говорю, – на старую чернильницу похож. С медной крышечкой». – «Вот и отлично, – говорит, – вот вы эту чернильницу и нарисуйте тридцать на сорок. Нарисуйте так, чтоб мы поняли, ПОЧЕМУ она вам не нравится. Два дня сроку…»

Стелла принесла из кухни тарелку с салатом, поставила на стол, тихо села рядом с Димкой, налила себе рюмку вина. Она уже слышала этот рассказ.

– …Тут же к Исаакию поехал. Страшно опять – еще больше. Ах, дурак, дурак, думаю, – напросился! В садике перед собором сел, набросал его карандашом – светотени, штриховочка – и чуть не плачу. Ну как я изображу, что мне в этой горе не нравится?! Как ни рисуй, всё равно что фотография выходит. Смотрю, смотрю… Ну хорошо, понимаю: барабан с верхней колоннадой и купол слишком для здания высоки, оно для них низкое. Получается – как голова большая на низком туловище, вот и давит. Ну и что?.. На чистой картонке еще раз контур набросал, без штриховки, без теней. Смотрю – на собор, на рисунок. Что-то не то, разница! Собор тяжелый, а у меня контур легкий. Почему?! Опять штриховочку нанес: здание – серым, колонны – еще темнее. И всё пропало, тяжесть! Бред какой-то!.. Ночь ворочался, даже Стелка подходила: «Ты пьяный или заболел?..»

Димка тяжело перевел дыхание. Стелла вдруг потянулась и погладила его узкой ладошкой по голове. Он отмахнулся и продолжал:

– Утром опять к собору со всех ног. Башка трещит. Мучался, мучался – карандашом, красками, так и сяк. Не жравши целый день, только курил. И вышло у меня… уже как-то само собой вышло: белое здание. Белое! А колонны – розовые, светлые. Смотрю – и купол стал не велик, и весь собор у меня такой легкий получился – в небо всплывает. Меня шатает уже, а я, дурак, радуюсь… Следующий день еле вытерпел. Всё на акварель свою любовался. Окружающие дома подрисовал, облачка над куполом. – Димка поморщился: – Это уж, наверное, зря, но так мне усилить хотелось, как он в небо летит…

Поехал работу сдавать. Опять толпа. Все трясутся, а я отдал рисунок – и хожу довольный какой-то, или отупевший. Представляю, как буду перед своим красноносым отчитываться.

Часа два нас у дверей мурыжили, разбирались взаперти, что мы там по заданиям напахали. Наконец, начинают вызывать. Вхожу в зал – экзаменаторов человек пять за столами, а красноносого нету. Моя работа у молодого. Стильный такой – без пиджака сидит, в нейлоновой рубашке с галстуком, и рукава засучены. «Перевозчиков? – и кидает мне картонку. – Двойка!..»

Меня как кувалдой между глаз ухнуло! – «За что же двойка?!» – Он ухмыляется, гаденыш… Эх, жалко, так я обалдел, что лица его не запомнил. И фамилию не узнал… – Димка сжал губы.

– Перестань! – сказала Стелла.

– Гладкая такая ряшка, – с ненавистью процедил Димка. – «А что ж вы, говорит, тут намалевали? Белый Исаакий!» – Хочу объяснить, не дает: «Понятно, понятно, вы его таким видите. Рано вам еще вывертами заниматься, выучитесь сначала! А то несут – синие деревья, зеленое солнце и воображают о себе!» – А я, дурак, еще булькаю: «Да вы посмотрите, поймите, он же МРАМОРНЫЙ! Он ТАКИМ должен быть, это он от времени потемнел!»

Тут еще какой-то хрен подваливает. Начальник. «В чем дело?» – «Да вот, абитурьент оспаривает оценку. Видите изыск: белый Исаакий и колонны цвета дамских панталон». – Начальник сердится: «Ну так отправляйте его! Что вы на одного столько времени тратите!»

Димка засопел:

– С-сволочи, паразиты!..

Григорьеву даже стало не по себе от этой прорвавшейся злобы. Как обидно, что Димке не повезло! Конечно, им с Мариком было легче. На экзамене по математике или по физике, если уж решил задачу, никуда от тебя не денутся. А искусство – штука неопределенная. Попался бы другой экзаменатор, может, и отнесся бы по-другому. Белый Исаакий или темный, – видно же, что Димка талантлив. Именно так: ему не повезло. Получилось, как с болезнью, – он заболел, они с Мариком остались здоровыми. И плохо, что это словно разъединило их, отдалило от них Димку. Плохо, что он так ожесточился. Обидно за него. И неловко от его ожесточения.

– Да, – сказал Марик, – не повезло…

Димка метнул свирепый взгляд, но тут же пригасил его и опять усмехнулся. Снисходительно, как человек, отделенный от них не своей бедой, а своим взрослым знанием:

– Не повезло…

– Что теперь делать-то собираешься? – осторожно спросил Григорьев.

Димка пожал плечами:

– А что делать? Дальше жить. В какую-нибудь изостудию пойду, чтоб форму не терять. А на будущий год – посмотрим. В театральном институте художественный факультет есть, оформление спектаклей. На худой конец, – вон, в педагогическом, «худграф», учителей рисования выпускает.

– Ой, ну какой с тебя учитель! – воскликнула Стелла.

И все улыбнулись, хоть все понимали, что Димка – старший из них троих, весной будущего 1965-го ему стукнет девятнадцать, и значит, до августа, до новых экзаменов, он вряд ли дотянет. Скорей всего, загремит в весенний набор в армию на три года. И даже на четыре, если во флот.

– Ладно, мальчики! – громко сказала Стелла, поднимая рюмку. – Всё будет хорошо! Это я – старенькая, а у вас всё впереди! Давайте – за Димочку, за вас!..

А после застолья Григорьев с Мариком долго бродили по улицам. Немного хмельные, возбужденные – и судьбой Димки, и собственной удачей. Уже здесь пересказывали друг другу первые институтские впечатления. Снова вспоминали про Димку. И говорили о том, что, как бы ни было, – их всё равно трое. Свою дружбу они никогда не растеряют. Они сохранят ее навсегда. На всю предстоящую, долгую, почти бесконечную жизнь!

Отец нарадоваться не мог тому, что сын поступил в институт. Купил бутылку коньяка, выпил с ним, как со взрослым. Мать ворчала: «Ну зачем ты его приучаешь?» Отец отмахивался (правда, наливал ему вполовину того, что себе). И всё гладил его, хлопал по плечу: «Молодец ты у меня! Какой молодец!»

А у молодца – слезы наворачивались. От радости, от гордости и оттого, что жалко было отца. Отец-то остался в своей цеховой клетушке, среди грохота, вони, матерщины.

«За это, – шумел отец, – проси чего хочешь!» Григорьев попросил купить радиолу. Отец ударил ладонью по столу: «Отлично! Как раз в новой квартире будет смотреться!»

Это была вторая великая радость в семье. Выстояв девять лет в очереди, они получили, наконец, отдельную квартиру: двухкомнатную, смежную, в хрущевке-пятиэтажке у Новой Деревни (по тем временам – дальние новостройки, чуть не край ленинградского света).

Поехали с отцом по магазинам. Григорьев хотел «Сакту» рижского завода, такую, какую видел у Марика. Нашли и купили за сто рублей роскошную «Сакту» в корпусе из темного полированного дерева с большими, белыми как у рояля клавишами переключения диапазонов.

Привезли радиолу домой. Поставили, включили. Загорелась прозрачная шкала с названиями советских и иностранных городов, зажегся ярко-зеленый глазок, в котором темный сектор то расходился, то сжимался, то вовсе захлопывался, когда приемник точно настраивали на волну какой-нибудь мощной радиостанции. Отец радовался: «Техника!»

На коротких волнах поймали русскую речь, но какую-то странную. Прислушались. Диктор объявил: «В эфире “Голос Америки”. – И назвал себя: – Константин Григорович-Барский».

– Смотри-ка, – фыркнул отец, – наши у них работают, сволочи!

Слышно было очень хорошо, лишь слегка потрескивали легкие помехи.

– Их в этом году перестали глушить, – пояснил отец. – Говорят, Никита решил показать, что не боимся ихней пропаганды.

Диктор что-то говорил о развале советской экономики.

– Опять! – поморщился отец.

Весной еще прокатилось в газетах: ЦРУ опубликовало доклад о том, что в Союзе – экономический кризис. Наши газеты отвечали с гневом и смехом: «Кризис! Каждый день сообщения – новая домна задута, новая ГЭС вступила в строй, новый спутник запустили!» Замелькали статьи наших экономистов, едкие фельетоны, карикатуры. Пошумело – и схлынуло. Больше об этом не вспоминали. Всё заслонили провокации американской военщины во Вьетнаме, да беспокойство, кто у них там победит в ноябре на президентских выборах: «ястреб» Голдуотер, бешеный сенатор, готовый хоть сейчас начать войну, или спокойный Джонсон, бывший вице-президент у погибшего Кеннеди, принявший власть на остаток его срока.

А тут этот диктор с русской фамилией опять называл какие-то скучные цифры, говорил о снижении, падении, застое.

Отец махнул рукой:

– Выключи его к лешему!

А институт, в котором Григорьев учился, был чем-то похож на замкнутый средневековый городок с внутренними кварталами, двориками, садиками, отгороженный старыми стенами от окружающего ленинградского мира. И еще – похож на метро своими бесчисленными лестницами, по которым, как по эскалаторам, текли потоки студентов. Мраморные ступени главной, парадной лестницы за сотню лет протерли до вмятин миллионы шагов. Лестницы маленьких корпусов, набитых тесными аудиториями, были крутыми и темными. Ко входам в амфитеатры лекционных залов снаружи вели широченные лестницы, а в самих этих залах – узкие лесенки встречно взбегали от площадки с лекционной доской по уклону между полукружьями рядов. И везде мелькали студенты, студенты, движущиеся вверх и вниз.

Система обучения тоже походила на эскалатор: в движении по восходящей, от поступления к диплому, им торопливо вталкивали знания. Надо было успевать схватывать цифры, правила, схемы, чертежи, какое-то время удерживать, чтобы довезти и сбросить их на коллоквиуме, зачете, экзамене, и, двигаясь дальше, поспешно принимать новые.

Это мало походило на его представления о мире науки. Он был слегка разочарован. И только на лекции по истории партии услышал он те слова, которых ждал. Старший преподаватель Антонина Степановна, – средних лет, подтянутая, в строгом костюме, – поздравила их с поступлением и приподнятым голосом стала говорить о том, какие они счастливые. Им предстоит участвовать в выполнении исторических решений декабрьского – тысяча девятьсот шестьдесят третьего года – пленума ЦК КПСС о химизации. Как замечательно точно сказал Никита Сергеевич Хрущев, ленинский лозунг «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны» теперь должен быть дополнен: «…и плюс химизация»! Им, нынешним первокурсникам Физико-химического, предстоит создавать новые материалы, полупроводники, полимеры, совершенствовать электрохимию и органический синтез…

И – странное дело: всё это Григорьев знал и сам, про декабрьский прошлогодний пленум и в сентябре шестьдесят четвертого каждый день твердили по радио, а плакаты со сло-

вами «…плюс химизация» на фоне реторт и газгольдеров висели на всех улицах, но вот – нужно было услышать звенящий, торжественный голос Анастасии Степановны, раздававшийся в зале над сотней голов, чтобы почувствовать успокоение и уверенность. Да, всё в порядке…

Снова настал октябрь, сухой и солнечный. Стали красно-золотыми ленинградские скверы. Чистый ветер порывами рябил на воде каналов цветные отражения домов.

Двенадцатого октября объявили о запуске корабля «Восход» с тремя космонавтами. Удивительно, но это не вызвало того возбужденного интереса, той радости, что всего год назад взлет Быковского и Терешковой. Он мог судить хоть по другим, хоть по себе. Конечно, здорово: первый в мире корабль не с одним пилотом, а с целой экспедицией! Конечно, молодцы! Ну и молодцы, ну и ладно…

В газетах напечатали текст разговора Хрущева и Микояна с космонавтами (оба шутили, вырывали друг у друга трубку) и фотографию: они стоят у столика с телефонным аппаратом, только они двое, вокруг – никого, непривычно пусто.

А утром шестнадцатого они с отцом завтракали на крохотной кухне своей новой квартиры. Как обычно, тихо бормотал репродуктор над столом. Пропикал сигнал точного времени – семь часов. (Григорьев помнил, когда ввели эти отрывистые сигналы: вскоре после запуска первого спутника, в подражание его «бип-бип-бип».) Отец встал, прибавил громкость – послушать перед работой утренние «Последние известия», – да так и остался стоять под звуки металлического голоса, который зачитывал сообщение о Пленуме ЦК:

«…Удовлетворил просьбу товарища Хрущева… в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья… Пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича».

Отец присвистнул:

– Во дают! Никиту сковырнули!!

– Ой, – сказала мать, – лишь бы войны теперь не было! Только жить начали по-человечески, квартиру эту получили!

Отец махнул на нее рукой:

– Тихо ты! Дай послушать!

Диктор уже зачитывал сообщение Президиума Верховного Совета:

«…Удовлетворил просьбу товарища Хрущева об освобождении от обязанностей Председателя Совета Министров СССР… Председателем Совета Министров Президиум Верховного Совета назначил товарища Косыгина Алексея Николаевича…»

Отец постоял еще немного – ухом к самому репродуктору, – но дальше шли уже обычные последние известия: о трудовых успехах на заводах и на полях, о событиях в мире, об Олимпийских играх в Токио. Тогда отец тяжело опустился на стул, рассеянно придвинул к себе тарелку.

– Ну всё, – сказал он, – теперь моих архаровцев целый день работать не заставишь. Будут в курилке балабонить. Они ж у меня все политики, мать их за ноги…

А Григорьев сидел ошеломленный. Как же так: совсем недавно, в апреле, отмечали семидесятилетие Хрущева. Он улыбался, шутил. Сияющий Брежнев приколол ему звезду Героя Советского Союза вдобавок к трем звездам Героя Социалистического Труда. И вот – как гром среди ясного неба.

Он отправился в институт. На всех улицах не было ни одного портрета Хрущева, ни одного плаката или транспаранта с цитатой из его речей. За последние годы они так примелькались, что их почти не замечали. А исчезли – зазияла пугающая пустота. Словно вымело их за ночь.

Ему хотелось с кем-нибудь обсудить случившееся. Отставка Хрущева занимала его в тот день даже больше, чем Нина. Но занятия шли буднично, а однокурсники, с которыми он заговаривал, отмахивались: «Скинули лысого – и черт с ним!»

По дороге домой он остановился у газетного стенда с «Ленинградской правдой». Там печатались отрывки из нового романа Веры Пановой о временах культа личности. Снова – об арестах, пытках, лагерях. Читать об этом странно не надоедало. Не из-за сладострастного копания в болезненном, а как раз потому, что такие книги и статьи поддерживали успокоительное ощущение: да, это печатается и, значит, продолжаются новые, честные времена, всё в порядке. Вот и Хрущева сняли, а очередная глава была напечатана, и внизу стояло «продолжение следует». Почему-то странно было это видеть.

Отец вечером потребовал:

– Поймай-ка… этих!

Поймали «Голос Америки». Диктор с очень правильным, даже преувеличенно чистым русским выговором сообщал подробности отставки Хрущева. Как того неожиданно вызвали с отдыха на пленум и предъявили обвинения. Отец слушал, хмурился.

«Это свидетельствует, – чуть насмешливо продолжал диктор, – о том, что эпоха кровопролития и массовых убийств, действительно, прошла, и советское общество переходит к некоему примитивному демократизму…»

– Всё учат нас, – проворчал отец. – Учат. Как туземцев голозадых.

Григорьев скрутил ручку настройки. Поймал нудный мужской голос с непонятным акцентом, который вещал нечто невообразимое:

«Хрущев опорочил память продолжателя дела Ленина, великого коммуниста Сталина…»

– Китайцы! – догадался он.

– Похоже, – согласился отец. – Бывшие братья наши.

«…Советский народ, прогнав Хрущева, совершил хорошее дело…»

– И эти тоже… учат! – фыркнул отец. И вдруг разъярился: – Выключай, к едрене бабушке!

Дня через два в институте была очередная лекция по истории партии, они проходили тогда первую русскую революцию 1905 года. Григорьев собирался после лекции расспросить Антонину Степановну о случившемся. Из газет понять ничего было невозможно. Писали только, что все советские люди горячо поддерживают решения октябрьского пленума, а о самих решениях – ни слова. Даже фамилию Хрущева нигде не упоминали. Самый знаменитый человек на планете, оглушавший и сотрясавший весь мир, вдруг исчез. Да не просто исчез, а растворился в воздухе, беззвучно и бесследно, словно и не было его никогда.

Но Антонина Степановна опередила. Едва они расселись и затихли, она сама заговорила о пленуме.

Григорьев только успел бросить первый взгляд на Нину. Он уже научился выбирать место в аудитории: на один ряд позади и чуть сбоку от нее, так чтобы, записывая лекцию, можно было наглядеться, тоскливо и сладко замирая, на ее профиль. Но не слишком близко к ней, чтобы оставаться полускрытым другими студентами. Иначе – это уже бывало – она, повернувшись, встречалась с ним взглядом, и в ее больших, прекрасных голубых глазах мелькало подобие испуга. Его это неприятно потрясало, словно электрический удар. Он резко опускал голову, а она отворачивалась и к счастью не видела, как он заливается краской.

Но в тот день, едва Антонина Степановна заговорила с кафедры, он на время позабыл про Нину. Тон у Антонины Степановны был тот же приподнято-радостный, что и месяц назад, когда она поздравляла их с поступлением и цитировала Хрущева. Сейчас она говорила о том, что партия, которая справилась с культом мертвого, сумела справиться и с культом живого. Называла цифры – миллиардные убытки от кукурузы, от ошибочных единоличных

решений в промышленности. А какая утрата скромности! Уже и величайшие победы в войне – Сталинград и Курск – ему приписывались. Он, конечно, в тех битвах участвовал, был членом военного совета фронтов. Но ведь командовал не он, а наши славные маршалы.

Григорьев слушал с недовольством. Ничего нового Антонина Степановна так и не сказала. Про кукурузу и потерю скромности без нее давно было известно. А главное, в поведении ее не чувствовалось ни растерянности, ни смущения. Та же самая торжественность.

После лекции он хотел подойти и расспросить ее хотя бы о Китае, где испытали атомную бомбу. У нас в газетах прошли об этом только коротенькие, в несколько строк, заметочки. А по «Би-би-си» (он слушал вчера тайком от отца) долго рассуждали, как изменится теперь положение Китая и какие трудности возникнут для СССР. Посмеиваясь, рассказали про огорчение японцев: они, бедные, так готовились к Олимпиаде, хотели показать всему свету, чего достигла Япония, а тут на тебе, – Советский Союз отставкой Хрущева и Китай атомным взрывом всё внимание отвлекли на себя. Потом передали обзор английской печати.

– Вот, послушайте, – вдруг сказала Антонина Степановна, доставая листок бумаги, – что пишет газета «Таймс»! «Хрущев раздражал русских своей суетливостью и болтовней. Русские любят, чтобы их государственные деятели были величественными».

Это были слова из вчерашнего обзора «Би-би-си». Григорьеву расхотелось подходить к Антонине Степановне. А когда после лекции сосед, вставая, хохотнул: «Понял теперь? Никите величия не хватило!», – он ответил соседу зло и громко, так чтоб услышала и Нина: «Да ну! Всё учат нас, как туземцев!..» И краем глаза уловил, как Нина быстро и с любопытством взглянула в его сторону.

Потом вспоминается вечеринка у Димки. Кажется, в декабре, перед новым 1965-м. Да, в конце декабря, потому что по телевизору в тот вечер как раз выступал Косыгин, новый глава правительства, до того мало известный. Его выступления начались вскоре после исчезновения Хрущева, и появлялся он на экране именно в один из последних дней месяца, словно отчитываясь на многомиллионном собрании.

Было нечто неожиданное в этом сдержанном человеке с темным сухим лицом. В том, что он не поднимается на трибуну, а просто сидит за столом и в упор смотрит им всем в глаза. Перед ним были разложены бумаги, но он в них не нуждался. Не сводя взгляд с камеры и, кажется, даже не мигая, на память перечисляя множество цифр, невыразительным механическим голосом он говорил о том, что делается в хозяйстве страны, об успехах и трудностях, о поиске новых путей. Проговорив минут пятнадцать, благодарил за внимание, и прежде, чем успевали переключить камеру, словно сам отключался от зрителей, угрюмо замыкаясь в своих мыслях.

После хрущевского чтения по бумажке, перемежавшегося с сумбурными отступлениями, это впечатляло! Возможно, на то и был расчет. А может, и не был.

Григорьев шел на встречу с друзьями совсем не в новогоднем настроении. Как раз в том декабре он впервые робко попытался приблизиться к Нине, заговорить с ней. Но ничего не вышло. Она отвечала односложно, со своей неизменной рассеянной улыбкой, словно не видя его, словно отстраняя его от себя – мягко, но величественно и непреклонно.

Как мучился он тогда! Сколько раз, бессильный, задыхающийся, бродил после занятий по улицам, тяжело, как сквозь толщу воды. Казалось, что угодно – гнев ее, да просто раздражение, – всё было бы лучше, чем это безразличие.

Он не видел соперников среди своих ребят, студентов, и почему-то был уверен, что у него вообще нет соперников, настолько невозможно было представить кого-нибудь рядом с Ниной. Но это означало, что причина отказа – в нем самом, он недостоин ее.

Нина была на полтора года старше, что тоже возвышало ее над ним. Она и проходила в гомоне и кипении первокурсников как старшая: чуть улыбаясь, доброжелательно и неви-

дяще, словно обращенная в какой-то свой мир, если не настоящий, то приближающийся к ней из будущего. И Григорьев понимал, что ее мир – необыкновенен, ей дает на это право хотя бы необычная красота.

А он? Что же он сам? В студенческой толпе пришло к нему опустошающее открытие: он – заурядность! Не наделенный ни яркой внешностью, ни избытком мускульной силы, никогда не занимавшийся спортом, плохо одетый, – чем мог бы он привлечь ее внимание?

Насыщенный массой книг, еще недавно гордившийся своими познаниями, теперь, с презрением к себе, он обнаружил их бесполезность и свою тупость. Конечно, Нина прислушивалась с любопытством, когда он рассказывал что-то интересное. Но нужен был не пересказ. Нужны были собственные мысли, яркие, притягивающие. Бедный мальчишка, в свои неполные восемнадцать лет он хотел бы предстать перед нею Печориным или лордом Генри. Слава богу, у него хватило ума, чтобы понять: любая мудрость, которой он мог бы сверкнуть перед ней, даже не родилась от прочитанного, а просто – прочитана. Понять и промолчать.

Зато в эту первую свою студенческую зиму он пристрастился к поэзии. Раньше обходил в библиотеке полки со стихами, а тут потянуло к ним – словно магнитом.

Он был записан в библиотеку не простую, особенную – Дома офицеров на Литейном. Записались вместе с отцом еще в пятьдесят седьмом году, отец во взрослое отделение, он – в детское. Отец, конечно, никакой был не офицер, старший сержант запаса. Но в те времена и сержантов записывали, тем более фронтовиков.

Впрочем, отец туда всё равно ходить не стал, отцу было некогда. А вот он, десятилетний, сразу привязался тогда к этой библиотеке, к молодой библиотекарше Валентине Ивановне, коротко стриженой, с мальчишеской чёлкой, которая с ним подружилась и приберегала для него самое лучшее – новые фантастические повести, сборники «Мир приключений».

Валентина Ивановна любила поэзию.

– Послушай, – говорила она, – как Михаил Светлов написал к сорокалетию нашей армии:

Давай с тобой обнимемся, солдат!
На нас десятилетия глядят!
Нам не жалела Родина пайка:
Сто молний, сто чудес и пачку табака!

Он слушал. Когда Валентина Ивановна декламировала, ему тоже нравилось. Но самому читать стихи не хотелось.

Построенный в начале века, Дом офицеров своими чешуйчатыми стенами, башенками, узкими окнами-бойницами напоминал старинный терем или угловое укрепление древнерусской крепости. А внутри огромного дома было в пятидесятых годах малолюдно. Десятилетний мальчишка с любопытством и опаской (вот поймают и попадет!) бродил по его пустынным, казенного обличья коридорам – со стенами в деревянных панелях и сводчатыми потолками.

Однажды, свернув в такой слабо освещенный коридор, он вздрогнул от неожиданности: перед ним возвышался огромный темный человек. Не сразу он догадался, что видит статую, и решился приблизиться к ней.

На низком постаменте стоял двухметровый, тускло поблескивающий бронзой, совсем молодой Климент Ефремович Ворошилов в гимнастерке довоенного образца – без погон, с большими маршальскими звездами в углах воротника. Только по белеющим кое-где мелким сколам можно было догадаться, что он – гипсовый и лишь раскрашен бронзовой краской.

Скульптор постарался изваять маршала в движении: ноги чуть расставлены, одна рука, сжатая в кулак, согнута на уровне пояса, другая – отведена назад, как при строевом шаге, голова решительно вскинута и чуть повернута вбок. Казалось, нарком тридцатых годов идет по коридору, строго всматриваясь в развешанные на стенах рисунки и фотографии, где изображено оружие противника конца пятидесятых: баллистические ракеты «Тор» и «Атлас», сверхзвуковой бомбардировщик В-58 «Хаслер» с треугольным крылом, авианосцы и вертолеты.

Почему-то запало в мальчишескую душу и вспоминалось иногда во взрослые годы это пустяковое, в общем-то, впечатление. Курьезное и странное смещение и смешение времен…

А к той зиме, когда он мучался от любви к Нине, первой студенческой зиме 1964—1965-го, гипсово-бронзовый маршал из Дома офицеров давно исчез, в коридорах висели фотографии и таблицы характеристик атомных подводных лодок с ракетами «Поларис», а в библиотеку записывали только настоящих офицеров. Но он к тому времени был уже читателем со стажем, и никто его, конечно, не выгонял.

Он перевелся из детского отделения во взрослое. Там работала теперь и посерьезневшая Валентина Ивановна (кажется, она так и не вышла замуж). Она по-прежнему оставляла для него интересные новинки, а главное, разрешала проходить в основной фонд и выбирать книги самому, что и вовсе дозволялось лишь избранным.

Почти каждую неделю он приезжал в библиотеку, вступал сквозь завешенный портьерами вход в залы фонда и надолго оставался в первом зале, у стеллажей, где рядами стояли сборники стихов.

Здесь испытывал он странное чувство: не возбуждения, а словно взлета над многоцветным миром. Дух захватывало от разреженной высоты, от грозового напряжения мыслей и чувств. Он снимал с полки то одну книгу, то другую. Пробегал глазами строчки. И выбирал какого-то одного поэта. Каждый раз, до следующего визита в библиотеку – только одного: прочитать, впитать в себя.

Он был изумлен: давно ушедшие люди, отлюбившие и отжившие много лет назад, писавшие о своей жизни, о своей любви, столь непохожих на его жизнь и его любовь, с такой точностью высказали всё, что испытывал он сам. И его чувства к Нине, и его смятение.

Иные строки он вбирал сразу, с первого, беглого прочтения возле стеллажей, и бормотал про себя уже по пути домой:

Сколько раз я пытался тебя утолить, угасить,
Расставанье! О, горькие руки
Полуночного ветра, без воли, без ритма, без сил,
И чужое волнение, данное мне на поруки!
Подожди хоть немного, помедли, болтай, как и я,
Безответственно смейся, иди на любые ошибки.
Но тяжелое небо лежит, поднимая края,
Чтобы волны и весла его не расшибли…

Разве это Владимир Луговской из далеких, неясных двадцатых? Нет! Это переживал он сам, это мучало его сегодня, сейчас, в уличной толпе, на вполне реальном городском асфальте:

Прощай, прощай, прощай! Фонарь глотает темь.
Костлявый грек, как рок, качнулся на моторе.
И оркеструет вновь одну из старых тем
Огромное, неприбранное море…

У Луговского он всего лишь отыскал нужные ему слова.

И это он сам, шагая под липкими хлопьями влажного ленинградского снега, он сам, только словами Николая Заболоцкого, выговаривал пугающее и гордое пророчество судьбы – как будто не своей, но и своей тоже:

За великими реками
Встанет солнце и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.
И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка,
Встанет утро победы торжественной
На века.

Это было невероятно: на пыльных библиотечных полках тесными рядами стояли сокровища! Стояли открыто, доступно, с чуть желтеющими, нетронутыми, гладкими страницами, словно никому не нужные! Стояли спрессованные в переплетах сгустки энергии и мудрости, такие, как горькая мудрость Маршака:

Всё умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет – наперекор всему, —
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

И непонятно было, как могут существовать на свете глупость, злоба, недоброжелательство между людьми, когда УЖЕ ЕСТЬ ПОЭЗИЯ.

Но и об этом ОНИ тоже думали и сокрушались задолго до него. И он повторял светловское:

Неужели ты, воображенье,
Как оборванное движенье?
Неужели ты между живых,
Как в музее фигур восковых?..

В тот декабрьский вечер 1964-го они купили с Мариком бутылку сладкого портвейна. Решили, что хватит им троим. Шли к димкиному дому, перепрыгивали через сугробы, бол-

тали. Григорьев радовался: он встретился с Мариком, сейчас увидит Димку и, наверное, Стеллу. Это было подобно освобождению от Нины хоть на короткий срок. Снова они соберутся вместе, ничто не прервалось, им будет хорошо.

Но с самого начала всё покатилось плохо. Стеллы не было дома, а Димка сидел уже подвыпивший и какой-то взвинченный.

Григорьев не хотел при Димке говорить об учебе. Но Марик, едва отхлебнув из своего стакана, заговорил, как назло, именно об этом. Стал расспрашивать Григорьева, сколько у них часов высшей математики, по какому учебнику занимаются. И снисходительно отметил, что у них часов вдвое больше, и учебник – не Берманта (это для домохозяек), а Фихтенгольца или Смирнова – самые сильные курсы, на уровне университетского матмеха.

Григорьев видел, как томится захмелевший Димка, и пытался увести разговор на общее, соединить всех троих.

Но Димка вдруг сам перебил Марика:

– Да брось ты, Тёма, про свою науку! Хочешь анекдот? Из серии «Когда в кинотеатре погас свет»!

Потом, оставив Марика, они вдвоем с Димкой вышли на лестницу покурить. Григорьев стал спрашивать, поступил ли Димка в изостудию. Тот курил, поплевывая, и говорил рассеянно, будто сквозь разговор думал о своем. Расслышал про изостудию, отмахнулся:

– Пошел было, да бросил.

– А как же будешь к экзаменам готовиться? – спросил Григорьев. – В институт?

Димка поморщился:

– Да ну… В живописный уж точно больше не сунусь. Мне про их конкурс всё объяснили. В этом году на двадцать мест одиннадцать человек поступало блатных, – ну, художников дети, начальников, всё такое. Да еще пятерых из союзных республик принимали, по направлениям. Тоже блатных, конечно. Только четверых брали, как они у себя называют, «с улицы». Это мы всей толпой на четыре места ломились! Что, не веришь?

Верить, конечно, не хотелось. Но что-то подсказывало: Димка, а вернее тот, кто всё это Димке рассказал, – не врет. Может быть, преувеличивает немного с досады, но не врет.

– Да и видел я работы ихних выпускников, – сказал Димка, – ходил на выставку. «Строители Братской ГЭС», «Строители ЛЭП-500», «Строители нового города». Фотографии раскрашенные!.. Ладно, по весне – один хрен – всё равно в армию заметут, – и Димка, дурачась, пьяновато пропел: – Говоря-ат, не повезет, если черный кот дорогу перейдет!..

Это была самая популярная песенка минувшей осени. По радио она звучала каждый день. В музыкальных магазинах замученные продавщицы вывешивали объявления: «Пластинки "Черный кот" нет!»

– А пока наоборот – только черному коту и не везет, – уже мрачно закончил Димка. – Ладно, отслужу – посмотрим! – и вдруг снова ухмыльнулся, хлопнул Григорьева по плечу: – Ты что, из-за меня такой кислый?

Они вернулись в комнату. Как раз тогда и появился в телевизоре Косыгин. Григорьев стал было к нему прислушиваться, но тут Марик, кивнув на экран, заговорил о том, что в наше время надо заниматься только точными науками.

– Тут ничего от политики не зависит, – рассуждал Марик, – делай свое дело, и тебе неважно, кто во главе – Хрущев или Косыгин. Сумма углов треугольника от этого не изменится, и кремниевый диод не перестанет ток выпрямлять. А сейчас самое перспективное дело – ЭВМ. Вот за чем будущее! Лет через десять на каждом производстве будет вместо директора управлять ЭВМ, на любом, самом паршивом заводике – сколько куда металла подвезти, сколько какому цеху деталей сделать. А через двадцать лет – по всей стране все ЭВМ объединятся в одну систему, которая всё будет знать: где, что, вплоть до последнего зернышка и гайки. Ни в Америке и нигде такое невозможно, а у нас возможно. Потому что –

социализм. Вот когда его преимущества по-настоящему проявятся! Порядок наступит! Все практические дела будут решать ученые с ЭВМ, значит, и страной будут управлять. Политические деятели станут чем-то вроде священников – мораль проповедовать. Всё будет автоматизировано, рабочий день сократится, всего будет в изобилии. Вот так и настанет коммунизм – благодаря НАУКЕ! К тому времени научатся ЭВМ прямо к человеческому мозгу подключать – через биотоки. Такой простор откроется для творчества! И жить наше поколение будет необычайно долго!..

Димка во время этих мариковых рассуждений куда-то исчез, пообещав, что скоро вернется.

Григорьев с Мариком просидели почти час, и вдруг Димка вернулся – не один, а с девушкой, низенькой, грудастой, круглолицей толстушкой. Грохнул на стол еще один «фауст» и провозгласил:

– А это – Любочка! Если ее переставить… – он дернулся и закрылся от нее ладонью, словно в испуге, – ой, не Любочку, буквы переставить, получится Бу-улочка!

Люба хохотала, поглядывая на Марика и на Григорьева. Димка, блестя глазами и оскаливая волчьи зубы, говорил:

– Я сам человек неуравновешенный, и Любочку люблю за то, что неуравновешенная!

Та вскинулась:

– Чем это я неуравновешенная?

– А я никак не могу понять, что в тебе перевешивает – грудь или зад!

Люба замахнулась на него как будто в ярости, они с минуту боролись, Димка хохотал. Потом они успокоились, Димка разлил еще вина по стаканам.

Марик почти не пил, а у Григорьева уже горячо кружилась голова. Комната, лица, звуки голосов разноцветно и гулко колыхались вокруг. Он думал о том, что Димка много пьет, и сам он тоже – поддается ему. И еще думал о том, что всего полгода прошло после школы, а они трое уже отделены друг от друга. Марик – своей наукой, он сам – любовью к Нине, Димка – своей неудачей, вином (зачем он столько пьет!), этой девицей…

Димка уже не хохотал. Он гладил Любочку по толстой спине, гладил всё ниже, и что-то говорил, говорил, точно воркуя, склоняясь к ней. А она, хоть кривилась в едкой улыбочке, притихала под его рукой, словно кошка.

Да, они разъединены, их быстро разносит в стороны течением. Неужели ничего уже не сделать?..

5

Вдали, в темноте, медленно двигались по Пулковскому шоссе – от Ленинграда и к Ленинграду – светлячки автомобильных фар. Кто-то минует поворот к аэропорту. Кому-то не нужно улетать.

Невидимым громовым шаром покатился по бетону разбегающийся лайнер. Дикторша прокричала объявление очередной посадки. Он невольно прислушался. Нет, конечно, это еще не его рейс.

Аля заметила, как он машинально вскинул голову и на миг застыл в напряжении. Губы ее искривила усмешка.

– Чего ты хочешь? – ощетинился Григорьев. – У меня через двадцать минут посадка! Я усталый, злой, мне ночь не спать – с самолета на завод! Зачем приехала? Если надумала уйти, могла бы подождать с таким радостным известием, пока вернусь! Или так не терпится почувствовать себя свободной?

Он ждал, что Аля в ответ заведет свое обычное: «А тебе обязательно – либо черное, либо белое! Если не кидаешься тебе на шею, значит, уходи прочь! Ты думаешь только о

себе, ты устал, конечно! Мое состояние тебя не интересует…» Даже на это он был бы сейчас согласен.

Но она сказала, не то спрашивая, не то утвердительно:

– А тебе обязательно хочется, чтобы я была виновата. Тебе так будет легче.

Лето 1965-го было такое холодное и дождливое, какие даже в Ленинграде выпадают редко.

В начале июня провожали Димку в армию. Григорьев привез в подарок блок «Трезора», самых лучших тогдашних сигарет – болгарских, длинных, с фильтром.

– Ты что! – засмеялся Димка. – Лучше бы «Памира» купил по десять копеек! «Трезор» среди солдатиков не покуришь: только достанешь – пачку вмиг расхватают!

В комнате, где они когда-то занимались, у накрытого стола сели на прощанье вчетвером: Димка, Стелла, Александра Петровна и Григорьев. Марик не приехал, у него уже началась сессия, назавтра – первый экзамен. Марик только позвонил. Телефон висел в коридоре, Димка выбежал туда, и слышно было, как он кричит в трубку: «Спасибо, Тёма! Спасибо, старичок! Обязательно!..»

Коротко постриженный Димка, несмотря на возбуждение, был каким-то непривычно сосредоточенным. Почти не пил.

Григорьев смотрел на него, и даже не верилось, что он действительно провожает Димку в армию. Во взрослую, тревожную и суровую жизнь. В чем-то испытывал неловкость перед другом, в чем-то завидовал ему.

Александра Петровна молчала. Всё время казалось, что она вот-вот заплачет. А Стелла тянулась поговорить с Григорьевым. Расспрашивала, как он учится, и при этом смотрела прямо в глаза, внимательно и странно. Он смущался. По его мнению, Стелла не проявляла тех чувств, которые должна проявлять сестра, провожающая любимого брата на трехлетнюю службу.

Димка запретил идти с ним на сборный пункт, и, когда подошло время, решительно поднялся из-за стола: «Всё, прощаемся!» Обнял и поцеловал мать. (Та, наконец, заплакала, еле слышно, всхлипывая. Покатились слезы по щекам.) Обнял и поцеловал Стеллу. И вдруг, отстранившись, непонятно для Григорьева яростно погрозил ей пальцем: «Смотр-ри у меня!» И взял чемодан.

Григорьев и Димка вышли на улицу вдвоем.

– Жалко, что Тёма не приехал, – сказал Димка.

– У него завтра самый трудный экзамен, – попытался заступиться Григорьев.

– Да я не обижаюсь, – сказал Димка. – Тёма есть Тёма. Он свою науку ест, с наукой спит. Молодец…

– С Любой-то попрощался? – спросил Григорьев, чтобы увести разговор от Марика.

Димка сперва и не понял, о ком это. Потом сообразил, снисходительно усмехнулся:

– Ты что! Этих посикушек, знаешь, сколько! Только покажи… – Продолжая улыбаться, вдруг посерьезнел: – Со всеми, со всеми я уже простился, и с ханыгами, и с блядями. И черт с ними! Сегодня хотел только с тобой и Тёмой. Тот позвонил, ты приехал, – ну и хорошо!.. Всё, дальше не ходи!

– Я тебя до конца провожу.

Димка мотнул головой: «Нет!» И в лице его, в зеленых шальных глазах было что-то незнакомое, стремительное. Он обнял Григорьева, поцеловал в щеку и быстро пошел, взмахивая свободной рукой (другую оттягивал тяжелый чемодан). Что-то разрушалось, последние ниточки натягивались – вот-вот оборвутся.

Шагов через тридцать, прежде чем свернуть за угол, Димка обернулся и прощально помахал ему, оскалившись белозубой улыбкой.

После сессии, в июле шестьдесят пятого, студентов, закончивших первый курс, послали работать на стройке нового институтского общежития. Нины с ними не было. Григорьев слышал, как Нина говорила, что собирается на юг. Он даже не удивился, что ей удалось получить в деканате освобождение. Разве Нине хоть кто-то, хоть в чем-то может отказать?

А он три недели вместе с ребятами из группы яростно таскал по лестницам носилки: вверх по этажам кирпичи, вниз, во двор – строительный мусор, который собирали девушки. Ныли мускулы, известковая и кирпичная пыль покрывала лицо, забиралась под рубашку и, смешиваясь с потом, жгла тело. Но он был даже доволен. Ему хотелось именно такого непрерывного напряжения, отупляющей усталости, чтобы не думать о Нине.

Трудней всего было вечерами после работы и по воскресеньям. Марик тоже уехал из города, Григорьев чувствовал себя одиноким. Он играл в карты с ребятами в общежитии, ходил с ними в кино, сидел в пивном баре.

Эти бары, только что открывшиеся, были последней ленинградской новинкой. В них первое время ходили не просто для того, чтоб выпить пива, а из любопытства. Что-то западное, европейское чудилось в их пластиковой чистоте, красивых глиняных кружках, вежливости официантов. Забавляли чехословацкие пианолы: бросишь в прорезь пятнадцатикопеечную монетку, нажмешь одну из сотни кнопок (возле каждой – бумажная полоска с названием песни), – и сквозь прозрачную крышку видно, как из длинного ряда стоящих на ребре пластинок поднимется выбранная тобою, отъедет в сторону, к звукоснимателю, и вот уже гремят какие-нибудь «Очи черные» или «Оранжевое небо» малолетней вундеркиндки Ирмы Сохадзе.

Ребята много говорили о девушках. Послушать их, все они давно были мужчинами и с девушками сходились и расходились так легко, как будто проще этого ничего нет на свете. И черт их знает, врали или нет, потому что называли знакомых девчонок, однокурсниц. «Эта – страстная. Под новый год в общаге завалил ее по пьяне, так все плечи мне искусала. А утром проспались, делает печальный вид: что же теперь будет? А ничего, говорю, не будет. Досыпай, я пошел». – «А эта весной аборт делала. У нее парень с механического, она с ним ночью в душевой закрывалась. Их однажды выследили и снаружи заперли. Ржачка!»

И всё это говорилось о девушках, с которыми сидели рядом на лекциях и в лабораториях, обсуждали книги и кинофильмы, у которых списывали задания, клянчили конспекты перед экзаменами. Вокруг текла бурная, горячая, скрытая жизнь, а ему, Григорьеву, в ней не было места.

Он оказался самым младшим из ребят: сорок седьмого года рождения, восемнадцатилетний. Все остальные однокурсники были старше: кто на год, на два – после одиннадцатилетки, а кто и на три-четыре – после армии.

Он слушал их разговоры со скучающим лицом, иногда снисходительно хмыкая, если надо было как-то среагировать. Он ни за что не признался бы в своей невинности, хотя порой приходил в отчаяние оттого, что недоступна ему такая же легкость в обращении с девушками. Он и разговаривать-то с ними не умел.

Снова и снова он думал о Стелле. Ей исполнилось двадцать пять, и он уже понимал, что она не девушка. Причем, в его глазах это не унижало, а скорее возвышало ее. Он помнил димкины слова про «хахаля», но больше не испытывал ревности, вообще не задумывался о том таинственном парне, к которому Стелла убегала на свидания, и кому, возможно, дала когда-то власть над собой. Того – безликого, безымянного – словно не существовало. Всё заключалось только в самой Стелле, и ее взрослое состояние означало ее собственную власть, в том числе над его, Григорьева, судьбой. Он понимал, что, несмотря на разницу в возрасте, нравится ей. Вот, если бы она согласилась… если бы снизошла к нему… если бы

стала у него первой… От таких мыслей голова кружилась. Потерять с ней проклятую мальчишескую невинность, стать мужчиной, – да от этого весь мир преобразится, и он в нем вырастет!

Однако, стоило ему приблизиться к телефону для того, чтобы позвонить Стелле, как вся его решимость тут же уходила, словно вода в песок, и он останавливался, беспомощный.

То есть, однажды он позвонил ей, когда получил первое димкино письмо из армии. Но тогда его так не мучили стыдные мысли, он разговаривал с ней просто и легко. А теперь…

Он придумывал, как и о чем будет говорить со Стеллой. Сперва, конечно, опять о Димке, по-другому и не начать. Потом надо спросить: «А как дела у тебя?» Если Стелла откликнется и начнет с охотой о себе рассказывать, он попробует намекнуть, что давно ее не видел. И если она и это воспримет благосклонно, тогда можно будет решиться и попросить о встрече…

Он просыпался ночами и долго ворочался без сна. Во взбудораженном мозгу всё выстраивался будущий разговор. Он подбирал фразы, – как ему казалось, легкие, остроумные, шаг за шагом приближающие его к цели. Пытался угадать варианты ее ответов и снова напряженно придумывал и запоминал собственные реплики на каждый случай. А утром плелся на стройку невыспавшийся, разбитый.

Закончилось унизительно: когда, наконец, он решился и позвонил, то, едва услышав ее тонкий голосок – «алло!», – задохнулся и бросил трубку…

О, этот жгучий восемнадцатилетний стыд, невидимый для окружающих! Он стыдился своей беспомощности, из-за которой не может стать мужчиной, и стыдился своих желаний: они загоняли его внутрь самого себя, в физиологию, в низменное, недостойное. Ведь его чувство к Нине, – он понимал, – все-таки было иным. И если он позволяет себе такие грязные мысли о той же Стелле и других девушках, пытается представить их наготу и себя с ними, – не то ласкающим, не то насилующим, – он теряет право о чистой и прекрасной Нине даже думать!

А разве не стыдно было мучиться от похоти, когда его друзья жили настоящей, возвышенной жизнью? Марик уже работал в студенческом научном обществе, Димка – служил в армии.

Он писал Димке длинные письма. Тот отвечал бодро: «Природы здесь нет – один лес. Людей нет – одни военные. Выпивки нет – один одеколон. Спи спокойно, к оружию меня еще не допустили!»

И наконец, стыдно было жить своими низкими страстями, когда в мире происходили великие, грозовые события. Тем летом американцы уже всерьез, беспощадно стали бомбить Северный Вьетнам. Вначале это вызвало шок. К партизанским боям на юге Вьетнама за много лет привыкли. Но тут – начали бомбить независимое государство. Бомбить, как в настоящей войне. Казалось, такого не было со времен Второй мировой. (Корейские события их поколение почти не помнило, да и те, кто постарше, успели позабыть, – целая эпоха прошла.) Что же будет? Газеты, радио, телевидение тревожно кричали: «Вьетнам! Вьетнам!..»

А дома, в стране, ощутимо шло движение, здоровое, деловое. В марте прошел пленум ЦК по сельскому хозяйству. Спокойный и рабочий, не то что пленумы при Хрущеве – с толпами приглашенных и колокольным звоном об исторических решениях. В сентябре ожидали пленум по реформе промышленности. В газетах потоком шли статьи с критикой недостатков нашей экономики. Как же так: год назад те же самые газеты издевались над американскими «измышлениями», «утками», «фальшивками» о нашем кризисе, а теперь, по сути, всё подтверждали? Значит, это была правда, всему миру известная, и скрывали ее только от собственного народа, как в шестьдесят втором ракеты на Кубе? Ну, Никита Сергеевич!..

Вот только в мае, в праздник Победы (небывалое торжество – двадцатилетие!), кольнуло немного, когда выступавший с докладом Брежнев помянул руководство Сталина и зал

дружно захлопал. Но Брежнев тут же назвал и маршала Жукова, и зал опять отозвался аплодисментами. Ну что ж, в хрущевские годы Жукова как только ни честили: душил-де всё передовое в армии, не давал развиваться ракетной технике, а в войну прославился только грубостью и жестокостью. Конечно, так нельзя. Конечно, нужна объективность, и с Жуковым, и со Сталиным (в Отечественную, что ни говори, он был главнокомандующим). И ничего плохого в такой объективности, наверное, нет. Не культ же собрались восстанавливать.

Правда, еще кольнуло и то, что выступления Косыгина по телевидению, к которым начали было привыкать, весной как-то незаметно прекратились. Но, наверное, у председателя совета министров есть более важные дела, чем отчеты перед телезрителями.

Сидеть всё лето в городе было невозможно, и когда работа на стройке закончилась, Григорьев, как студент и член профсоюза, купил в профкоме института путевку в дом отдыха в Зеленогорске. Отец, узнав об этом, только головой покачал: «Ну, ты совсем взрослым сделался! – и неопределенно усмехнулся: – Ты там смотри, шибко не разбегайся!»

С маленьким чемоданом в руке Григорьев сошел с электрички и зашагал по знакомой дороге – от станции к заливу. Только не сразу на пляж, как ходил когда-то с друзьями, а вначале туда, где над Приморским шоссе поднялись на холме пятиэтажные корпуса из белого кирпича – недавно построенный дом отдыха с громким названием «Морской прибой», его пристанище на двенадцать августовских дней, отмеренных путевкой.

Он приехал в солнечную погоду, какой давно не было этим летом. Он осматривался по сторонам и вспоминал, как в шестьдесят третьем приезжал сюда с Мариком и Димкой. Прошло только два года, а как всё переменилось! Вроде бы и мечта сбылась, он студент, а на душе – смятение и одиночество.

Дом отдыха был совсем новый. На лестницах по стенам – декоративные полочки, на них – деревянные вазочки с причудливыми сухими ветками, последняя мода. Номера – только двухместные и одноместные. Григорьеву достался одноместный! Крохотный, но удивительно уютный! В этом номере была даже раковина с холодной и горячей водой в кранах. А туалет в конце коридора был выложен чистенькой цветной кафельной плиткой и оттуда не пахло на весь этаж хлоркой. Настоящая роскошь!

Григорьев переоделся, положил в сетку-авоську подстилку и книгу. Спустился, вышел на игровую площадку перед корпусом. Здесь на раскрашенных щитах были нарисованы головоломки: мужик с волком, козой и капустой у лодки на берегу реки, магические квадраты с пропущенными числами, лабиринт. Отдыхающие, развлекаясь, со стуком бросали кольца на стержни, торчавшие из наклонной доски с цифрами.

Он пошел на пляж, побрел по песку среди распростертых, загорающих людей. Помимо воли, жадно, разглядывал молодых женщин в купальниках. Томила тайная надежда: а вдруг ЭТО случится с ним здесь. Где же еще и случаться такому? Быть может, одна из тех, на кого он искоса смотрит, проходя, окажется его соседкой за обеденным столиком. Хотя бы вот эта, что лежит, загорая, на спине, с зажмуренными глазами – крупная, длинноногая, с высокой грудью.

Он задавливал в себе горячий, колющийся кипящими пузырьками ток, склонял голову и всё дальше уходил вдоль кромки воды. Мелкие волны выплескивались на гладкий сырой песок. Залив искрился под солнцем.

Он шел и твердил про себя строчки Брюсова (в то лето он жил Брюсовым):

И встал я у скалы прибрежной,
И видел волн безвольный бег,
И было небо безнадежно,
И в небе реял – человек.

Над ним не трепетали крылья…

Ложился, пытался загорать и читать. У него была с собой прекрасная книга – «Молодые львы» Ирвина Шоу. В библиотеках очереди на нее записывались. Это Валентина Ивановна тайком выдала ему какой-то «контрольный экземпляр». Но сейчас никак не удавалось сосредоточиться. Досадуя на себя, он пролистывал книгу вперед, искал и находил постельные сцены. Женщины в книге были жадны к любви, сами искали близости. Неужели это действительно так? Почему в его жизни всё по-другому? Он сам виноват, глупый, неуклюжий?..

Его соседями по обеденному столику оказалась семья – муж, жена и мальчишка лет двенадцати. Мальчишка кашлял. Муж с женой, не обращая внимания на Григорьева, переругивались: кто из них не уследил и дал мальчишке, потному, напиться холодной воды из фонтанчика.

Григорьев снова ушел на залив, искупался. Потом купил газеты в киоске у почты (сюда их привозили из Ленинграда только в середине дня). Взял и тут же развернул «Правду», отыскивая главное – сообщения из Вьетнама. Оказывается, доблестные вьетнамские зенитчики за вчерашний день сбили девять американских истребителей-бомбардировщиков. Ну что ж, неплохо.

Он опять ушел на залив, читал, купался, следил за девушками. В номер возвратился уже в сумерках. Долго не мог заснуть…

Назавтра снова был жаркий, одинокий день. Григорьев несколько раз искупался, так что в конце концов закоченел. И долго потом шел по сырому, твердому песку вдоль кромки залива, согреваясь и стараясь утомить напряженное тело. Мимо разбросанных по бесконечному пляжу пестрых подстилок, на которых блаженно распростерлись загорающие отпускники. Мимо стаек парней и девушек, весело отбивавших волейбольные мячи. (Подойти бы сейчас к такому кружку, подбить отлетевший мяч и так же прыгать в солнечном воздухе, выкрикивать девушкам шутки.)

Он опять думал о Стелле, пытался представить ее в купальнике – такой, какой никогда не видел. Представлял ее обнаженные ноги, белые, очень полные вверху, стремительно сужающиеся к маленьким коленям, – и ноющий жар растекался по телу, замедлял движения. Сердясь на себя, он старался шагать быстрее.

В газетах сообщали об очередном разбойничьем налете американцев на Вьетнам и шести сбитых самолетах. На игровой площадке нескончаемо стучали по доске дурацкие кольца. Слышно было, как Трошин по радио мужественно поет песню, посвященную космонавту Леонову: «Шаги, шаги – по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве! Шаги, шаги – по небу пять шагов. За каждым шагом – отзвуки миров!..» Где-то за прилавком в магазине стояла Стелла в синеньком гладком халатике.

Долетел обрывок разговора:

– Хочешь в Ленинград позвонить? На почте есть автомат, по пятнадцать копеек…

И опять после неглубокого, не дающего отдыха сна пришел томительный день. Огромный мир – со сверкающим заливом, обнаженными телами, ударами мячей, плеском воды, смехом, – точно гулкий, пестрый купол покачивался вокруг, слегка вращался, кружа голову. А он, в центре, придавленный к горячему песку, задыхался от непонятной, уже не телесной тоски. Снова украдкой смотрел на девушек, томился. И злился на себя за то, что потакает свинскому томлению вместо того, чтоб его преодолеть. Но разве можно пересилить проклятый инстинкт продолжения рода? Ведь именно в нем всё дело! И когда он мучает тебя, заставляет искать удовлетворения, что толку в попытке спастись хвататься за свои человеческие интересы и знания, науку, поэзию, историю? Всё равно, что тонущему среди стихии волн хвататься за щепки.

А если бы в процессе эволюции органы размножения не совместились с органами выделения? (Что для этого требовалось? Немного иная температура на древней Земле сотни миллионов лет назад? Немного иной состав атмосферы?) Если бы акт любви, наслаждения, зачатия не был связан с грязным и постыдным телесным низом, совершался бы чистым, подобно поцелую? Тогда, наверное, вся психология и мораль, вся культура и философия, вся история рода человеческого сложились бы совершенно иначе! Сложились – непредставимо! Быть может, с невероятной свободой для человеческого разума…

Стараясь отвлечься от наготы и шума пляжного мира, он опять пытался читать. На этот раз вторую книгу, взятую с собой, – «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Но чтение опять не отвлекало. От рубленых, жестких фраз, изъеденных горечью, становилось еще тревожней: «Неужели книги – это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?» Сама неясность этих слов не обещала иной разгадки, кроме печали.

Он с трудом дождался часа, когда в киоск привозят газеты, купил их, отправился с ними обратно на пляж. На аллее, ведущей к заливу, его обогнали две девушки в коротких платьях. У одной покачивался в руке тяжелый транзистор «Спидола». Девушка оглянулась на Григорьева, перехватила его взгляд вниз, на ее длинные загорелые ноги, сразу отвернулась и так же быстро, но чуть напряженнее пошла дальше рядом с подругой. Удалялся с транзистором голос Майи Кристалинской: «И спать пора-а, и никак не уснуть! И тот же двор, и тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть!..»

Он резко свернул в сторону, чтоб не идти вслед за этой девушкой, побрел без цели среди сосен. Шел и думал о том, как смеется над ним судьба, словно дразнит: он – хозяин отдельного номера, а что толку? Вспомнил надежды, с которыми собирался в дом отдыха, и обругал себя. Глупый мальчишка, неуклюжий щенок! Не в состоянии даже познакомиться, заговорить с понравившейся женщиной. Так поделом тебе, мучайся!

И вдруг, всё как-то замкнулось в его голове: отдельный номер, случайно пойманный обрывок разговора о том, что на почте есть телефон-автомат прямой связи с Ленинградом, – отдельный номер – телефон-автомат – Стелла…

Он взглянул на часы: шесть вечера. Через час закроется ее магазин, еще через полчаса она вернется домой. Сердце гулко заколотилось. А что такого, в конце концов, если он ей позвонит?..

Почта помещалась в деревянном домике. К телефону-автомату выстроилась очередь. Все хмуро слушали, как мужчина в кабинке громко бранит дочь, судя по всему провалившуюся на экзаменах в медицинский институт: «Я тебе говорил, в технический надо идти!»

Григорьев сразу решил, что в такой обстановке разговаривать не станет, сейчас же уйдет. Но не ушел, остался обреченно стоять. Старался не слышать, о чем говорят сменявшиеся в кабинке люди, словно надеялся, что тогда и другие не будут подслушивать его самого.

Когда настала его очередь, он шагнул в тесную кабинку, бросил в автомат пятнадцатикопеечную монету и быстро, боясь, что струсит, накрутил номер. Ответили сразу, после первого гудка. Чужой, недовольный женский голос произнес: «Алло!» Он испугался было, что не туда попал, но тут же догадался: это соседка. Деревянно выдавил из пересохшего горла:

– Стеллу, пожалуйста!

Там, в Ленинграде, хлопнула трубка о столик. Сердце билось так сильно, что удары отдавались в животе, в ногах. Он слушал потрескивание и шорох разрядов в сорокакилометровой линии. И вдруг, электрическим уколом – в ухо, в мозг, в похолодевшее сердце – вонзился тоненький, встревоженный голосок Стеллы:

– Я слушаю!

Он с трудом назвал себя и услышал, как она облегченно засмеялась:

– А, это ты! Что так долго не звонил?

Он оттаял немного от ее дружелюбного смеха и торопливо заговорил, что вот, он не в городе, а в доме отдыха, в Зеленогорске. Словно находился здесь не третий день, а уже бог знает сколько времени, и именно это было объяснением, почему он давно не объявлялся. Говорил негромко, чтобы очередь за дверью кабинки не услышала. Казалось, от этого его голос приобретает скрытую силу и доверительность.

– Везе-ет же тебе! – с шутливой завистью протянула Стелла. – Как будто специально для тебя и погода установилась!

– Конечно. По моему заказу, – негромко посмеивался он, сам себе удивляясь: как легко он с ней разговаривает, свободно, иронично. Так, как всегда хотел и не мог говорить с девушками.

– У вас там хорошо-о, наверное, на заливе?

– Конечно! Купаемся, в волейбол играем!

– А у нас в городе ду-ушно так. Я ведь тоже в отпуске, а еще и не загорала толком.

– В отпуске?.. – у него спазмой сдавило горло, и следующие, главные слова, которые готовился произнести легко и небрежно, он выговорил прерывающимся голосом: – Ну так приехала бы ко мне…

– В Зеленогорск? – спросила она. – Далеко очень. Целый день уйдет.

– Вот на целый день и приезжай!

Он молил сразу и о том, чтобы она не поняла его игру, и о том, чтобы поняла и откликнулась. За дверью кабинки слушала нетерпеливая очередь, но ему было уже всё равно.

Стелла молчала несколько секунд, а когда наконец ответила, голос ее звучал уже по-другому, растерянно:

– Когда?

– Приезжай завтра утром!

– Ну что ты… Сейчас вечер уже. Как это вдруг я все дела брошу…

– Приезжай! – требовал он, почувствовав какую-то, еще непонятную самому, власть над ней. – Приезжай… а то погода испортится!

Она пыталась что-то возразить.

– Я буду тебя встречать на зеленогорском вокзале с десяти часов! – объявил он. – Все электрички буду встречать подряд, слышишь?!

– Да, – отозвалась Стелла. – Я слышу. Да, хорошо…

С горящим лицом, весь в поту, он выскочил из душной кабинки и пролетел мимо растянувшейся до самого выхода очереди, словно прорвался сквозь натянутую проволочную сеть раздраженных и любопытствующих взглядов.

Возбужденный, он спал в эту ночь совсем беспокойно. Поднялся рано. Как мог, вымылся над раковиной. Тщательно побрился. Неужели ЭТО случится с ним сегодня?.. Рассматривал себя в зеркале над умывальником и огорчался слишком юному виду: мальчишка мальчишкой! Хмурился, взглядывал исподлобья, стараясь найти более взрослое выражение лица.

На площадке под окном раздражающе стучали о щит кольца. Возле нарисованного мужика с волком, козой и капустой, как всегда, громко спорили отдыхающие.

Вдруг он ужаснулся: а если Димка обо всем узнает?! Но то, что владело им, то, что подгоняло его сейчас, было сильнее дружбы с Димкой…

Электрички из Ленинграда приходили на зеленогорский вокзал через каждые пятнадцать-двадцать минут. Пассажиры высыпали на платформу, текли мимо него потоком, редели, исчезали. Стеллы всё не было. И времени как будто не было: он не замечал его, электрички подъезжали словно одна за другой. Почему-то он был уверен, что Стелла опоздает,

но в конце концов появится обязательно. А кроме этой уверенности не осталось никаких отчетливых мыслей, и даже волнения не осталось – только звенящее напряжение.

И когда, наконец, он увидел Стеллу в очередном потоке приехавших, – скорее угадав, чем разглядев ее маленькую фигурку в мелькании чужих людей, – асфальт платформы неожиданно вздыбился под ногами, а солнечный мир на мгновение потемнел и накренился. Должно быть, кроме возбуждения, сказалась почти бессонная ночь.

Он не испугался. Он только переждал секунду, пока головокружение пройдет, и двинулся навстречу, никого, кроме Стеллы, перед собой не замечая и странным образом ни с кем не сталкиваясь.

Она улыбнулась ему – снисходительно, как всегда, – но сверхчутьем он уловил в ее выпуклых темно-зеленых глазах тревожные искорки, подобие испуга. В самой улыбке, от которой растягивались ее слишком большие для маленького личика губы и сильней выступала нижняя, раздвоенная, было сейчас нечто беззащитное. И вся она, невысокая, в свободном легком платьице, скрадывавшем фигурку, с открытыми, незагорелыми, молочно-белыми нежными плечами, казалась трогательно некрасивой и остро, как никогда, желанной.

Вместо приветствия она сняла с плеча и протянула ему свою модную «аэрофлотовскую» сумку на длинном ремешке:

– На, понеси!

Он молча взял.

– Вот, – сказала она, – все-таки приехала. Бросила всё – и на вокзал. – Она засмеялась и вдруг произнесла странную фразу, на которую он почему-то не обратил тогда внимания: – Думаю, надо повидаться, а то и не увидимся потом…

Они пошли рядом. Пошли молча. В том состоянии, в каком он находился, он не смог бы поддерживать не только остроумный, но вообще какой бы то ни было разговор. Да это оказалось и ненужным: сейчас молчание не разъединяло, а соединяло их. При ходьбе он то и дело нечаянно прикасался своим горячим локтем к ее руке, ощущая удивительную, нежную прохладу ее кожи.

Когда остановились возле его корпуса и он сказал: «Пойдем ко мне!», она немного удивилась:

– Мы разве не на пляж?

– Пойдем, – говорил он, – посмотришь мой номер.

Не отвечая, она смотрела куда-то в сторону. А он повторял, повторял, уже ничего не соображая:

– Пойдем, пойдем, посмотришь, как я живу.

В конце концов, словно от толчка, он повернулся и сам направился к дверям корпуса. И тогда – всем слухом и осязанием – уловил за спиной ее замедленные, шаркающие, как будто обреченные шажки…

Она не сказала ни слова, пока поднималась вслед за ним по лестнице. И только в номере, когда, пропустив ее, он поспешно закрыл за собою дверь и стал возиться с ключом, запирая непослушный замок, раздался ее странно изменившийся голос:

– Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? – монотонно говорила она.

Потом он пытался ее поцеловать, упрашивая «Стелла, Стелла, пожалуйста!», а она уклонялась, уклонялась. Это походило на странную, изнурительную борьбу, в которой оба противника боятся по-настоящему задеть друг друга: попытки сближения, легкие отстранения, вялое отталкивание. И одновременное сонное бормотанье: «Стелла, Стелла, пожалуйста!» – «Ну зачем ты это делаешь?»

Он умоляюще вцепился в край ее платья, стал тащить вверх. – «Что ты делаешь?..» – но голос ее уже дрожал. И вдруг, она протяжно вздохнула и вскинула руки. Он даже замер

на миг, не сразу догадавшись, что она помогает ему. Под платьем на ней оказался пестрый тугой купальник. Она сказала, словно извиняясь:

– Я думала, мы прямо на пляж пойдем…

Он не помнил, как они оба разделись, как он расстелил кровать. Всё совершилось само собой, стремительно, как удар молнии: его ослепила белизна ее тела (резко, страшно выделялись темные волосы внизу), а в следующее мгновение они уже легли. Стелла привлекла его к себе, он ощутил ее быстрые щекочущие пальцы и вдруг с изумлением («Неужели правда?!») почувствовал себя в ней. А она больно впилась ему в губы и, сковав своими неожиданно сильными ногами, стала двигаться, двигаться сама, в каком-то отчаянном нетерпении, ему оставалось только подчиняться. Она вдавливала, вталкивала его в себя, в темное, горячее, влажное, тайное, при каждом броске тела слегка обжигая наслаждением. Но только – слегка, он не терял рассудка, всё сознавал. Он даже слышал, как раздражающе скрипит металлическая сетка кровати, как неприятно сильно колотится собственное сердце. Неужели это и есть то самое? Это – и всё?! Только это?!

Его изумляло поведение Стеллы: ее лицо, искаженное словно в муках, зажмуренные глаза, то, как она отрывала от его занемевших губ свой яростный рот, чтобы застонать. Значит, она чувствует всё неизмеримо сильнее? Чувствует нечто необыкновенное, чего он не может с ней разделить?..

Его пронзила жаркая, долгая, освобождающая судорога. Расслабленный, он уткнулся лицом во влажную подмышку Стеллы, остро пахнувшую потом. Благодарность и нежность оказались сильней испытанного разочарования, принесли умиротворение, даже ощущение счастья. Но тут же он испугался: что, если будет ребенок?!

А она тоже опамятовалась и оттолкнула его:

– Пусти-ка! Пусти!

Слезла с кровати, прошлепала босыми пяточками к умывальнику, открыла воду. Вдруг испуганно прикрикнула:

– Не смотри!

Он и не пытался смотреть. Он лежал лицом к стене, слушая, как льется вода из крана, звонко плещет то в раковину, то на пол.

– Весь пол залила, – раздосадованно сообщила Стелла. – Ну ничего, линолеум, высохнет.

Пробежала назад. Сказала:

– Подвинься!

И снова привалилась к нему в тесноте скрипучей кровати. Он ощутил ее грудь, мокрый живот, мокрые волосы внизу, всё еще пугающие своим прикосновением, и мокрые до самых пальчиков, до царапающих ноготков, такие маленькие и такие сильные ноги.

Поцеловал ее. Заговорил было о том, что влюбился в нее сразу, как только увидел впервые осенью шестьдесят третьего. Но быстро сбился и замолчал под ее взглядом. Сдвинув уголком маленькие бровки, остроносенькая, похожая на сердитую птичку, она странно всматривалась ему в лицо своими выпуклыми, темно-блестящими глазами.

– Женя, – сказала она. – Женя. Надо же, имя тебе дали девчоночье!.. – Неожиданно ткнула его пальцем куда-то под ключицу: – Вон какой след тебе оставила, сама не заметила. На пляж теперь не выйдешь. Хотя, вы, мальчишки, такими пятнами любите хвастаться.

И вдруг, закинув лицо к потолку, громко сказала с восторженным ужасом:

– Какая же я дрянь! Господи, какая дрянь!

– Почему?!

– Да разве можно было мне с тобой? Совсем я с ума сошла!

– Давай поженимся.

– Ой, не смеши меня! Дурачок. Да я на семь лет тебя старше!

– На шесть с половиной!

– Мало, что ли?

– Шекспир тоже женился в восемнадцать лет, и жена была на шесть лет старше.

Стелла расхохоталась:

– Ты что – Шекспир?

– И у Наполеона жена была на шесть лет старше.

– Ой, не могу! Ты что – Наполеон?

Она заливалась смехом.

– А если будет ребенок? – спросил он.

Должно быть, слишком явно в голосе его прозвучал испуг. Стелла перестала смеяться. Сказала раздраженно:

– Успокойся ты, не будет никакого ребенка! Что же я – дурочка, не знаю, когда мне надо беречься, когда нет?

И вдруг посерьезнела:

– Вот что, мы с тобой больше не увидимся. Ты за мной не ходи и не звони мне, слышишь!

– Почему?!

– Потому! Игра есть такая детская: «Первый раз прощается, второй раз – запрещается!» Играл в нее маленький?

– Я тебя люблю.

– Перестань! – строго сказала она и зажала ему рот ладошкой. – Молчи, ничего не говори сейчас!

Несколько секунд они в упор смотрели друг другу в глаза. Неожиданно Стелла взяла его за плечи и сдавила так, что ногти больно вонзились ему в тело.

– Ты что?! – вскрикнул он.

А у нее странно искривился рот, затуманился взгляд, опустились веки. Она опять трудно застонала, медлительно и сильно охватывая его и вбирая в себя…

Вечером, когда он провожал ее на вокзал, Стелла вновь повторяла:

– Не ходи за мной больше! Не ходи и не звони, понял?!

Он ничего не понимал, но боялся возражать ей, чтобы не рассердить. Он еще не мог свыкнуться с мыслью, что всё уже произошло и завершается так нелепо обыденно. А Стелла вдруг начала расспрашивать его о какой-то ерунде, вроде того, хорошо ли кормят в доме отдыха. И в голосе ее звучали прежние, взрослые, покровительственные нотки. Он что-то отвечал. Его опустошенное тело было неприятно невесомым, ватным. Болела голова. Стыдно было признаться самому себе, но больше всего хотелось, чтобы Стелла поскорей уехала.

Электричка на Ленинград отходила почти пустая. Стелла уселась в вагоне у окна и, когда поезд тронулся, помахала рукой и улыбнулась ему сквозь стекло своей обычной, снисходительной улыбкой.

Он наконец-то остался один на безлюдной платформе. Но облегчение не наступило. Его даже подташнивало слегка от усталости, разочарования и стыда.

Думал, что в эту ночь опять не сможет заснуть, а заснул, как убитый. Проснулся утром, один в номере, со странным чувством: свершилось, я – мужчина. Кажется, с этого дня солнце должно было по-другому светить.

Лежал на пляже, читал, с достоинством покуривал, ни на кого не глядя. Словно играл сам перед собой. Пока не начал понимать: ничего не изменилось! Смятение не исчезло с его обращением в мужчину. Значит, то, что ему казалось телесным томлением, было на самом деле чем-то иным?

Он вспоминал слова Стеллы о том, что не увидит ее больше. И теперь хотелось увидеть ее немедленно. Не затем, чтобы повторилось вчерашнее, а словно потому, что с ее помощью он мог добиться какой-то ясности в себе самом.

Ритуальный поход за газетами не принес облегчения. Даже новости из Вьетнама сейчас не волновали. С охапкой нераскрытых газет пошел было на пляж. На полдороге остановился. Потом решительно направился назад, на почту.

Снова выстоял очередь к телефонной кабинке. Бросил монету, с колотящимся сердцем набрал номер. Когда ответили, спросил Стеллу. Подошла, как видно, Александра Петровна:

– А кто ее спрашивает?

Он с трудом назвался.

– А зачем она тебе?

Григорьев промямлил что-то насчет посылки для Димки, посоветоваться.

– Уехала она. К подружке, на дачу.

– А когда вернется?

– Кто ее знает! – вдруг зло сказала мать. – Через три дня, через неделю.

Вышел из домика почты, заметался, не зная, чем себя занять. Хотелось курить. Вспомнил, что оставил сигареты в номере на тумбочке… Стелла приедет через неделю, и ему в этом доме отдыха маяться еще целую неделю. Как прожить эти дни, когда он не знает, что с собой делать? Состояние такое, словно хочется вырваться – из этого залитого солнцем и заплывшего самодовольством мира отдыхающих, из самого себя… Вырваться? Куда?

6

Опять сквозь шум аэропорта донесся голос дикторши. Какой-то рейс откладывается на два часа. Другой рейс. Слава богу – другой! Даже представить было тяжело, что может случиться, если его рейс сейчас отложат и прощанье с Алей затянется – до утомления, до повторения одних и тех же слов. Аля в конце концов уехала бы из «Пулково», а он остался бы, привязанный, слоняться из угла в угол и уже нестерпимо, как освобождения, ждать вылета. Господи, только бы не сорвалось! Только бы всё кончилось по-человечески: чтобы ОН сейчас улетел, а ОНА – осталась.

Аля ждала его ответа. Хочет уйти. И для этого ей понадобилось приехать проводить его. Затеять на прощанье разговор, сыграть мучительную нервную мелодию и разойтись с последним аккордом, с медленно затихающим басовым гулом душевной боли. И ведь не из любви к мучительству или самоистязанию это ей необходимо, а чтобы ощутить завершенность. Пусть будет так, как ей хочется.

Ты еще наивна, Аля! Ты думаешь, мне больно? Конечно, больно. Ну и что? Я в другом возрасте. Это не преимущество, я просто в другом времени. Так у Брэдбери встречаются и беседуют марсиане из разных эпох, бесплотные друг для друга.

Конечно, опыт не приходит с возрастом, а тот, что приходит, ничего не стоит. Ум – подавно не приходит. Но что-то накапливается, подобное иммунитету. Или просто мертвеет. Ты думаешь, что наносишь мне рану? Теперь мои раны заживают всё скорей. Раскрылся кровоточащий разрез – и тут же стянулся, покрылся бугристой коричневой коркой. Вот и она растрескалась и слетела, а под ней – не розово-нежная обновленная плоть, но всё та же темная, грубая, старая кожа…

Он пожал плечами. Сказал:

– Почему? Я не думаю, что ты виновата.

Внизу подкатил очередной ярко-желтый «Икарус-городской». Хорошая машина, только двигатель уж слишком приемистый. С места берет таким рывком, что стоящие пассажиры валятся. «Всё, перешедшее за меру, превращается в собственную противополож-

ность!» Так отец любил повторять, раньше, когда бывал весел, выпивал и шутил. Уверял, что это – самый главный закон диалектики. Где он его услышал, на каких политзанятиях?

Хотелось еще закурить, но нужно было перетерпеть. Нельзя курить следующую сигарету раньше, чем через два часа: забивает бронхи. Вздохнешь – и сразу неприятно чувствуешь в груди, вверху эту шершавую копоть.

Аля осеклась, смотрела на него сбоку. Не могла понять, больно ему или нет. Да больно, больно же! Оттого, что ты уходишь. И оттого, что еще двадцать минут надо провести с тобой, говорить о чем-то. И голова болит, никак не удается выспаться. И впереди бессонная ночь, а за ней, с ходу – первый, суматошный завтрашний день на заводе. И послезавтра…

Впрочем, послезавтра тебя уже не будет со мной, Аля. Хоть одна боль уйдет.

В том августе 1965-го, вернувшись из дома отдыха, он еще дважды звонил Стелле. Первый раз подошла она сама. Сразу узнала его голос, испугалась, и даже не заговорила, а забормотала – быстро-быстро и тихо, видно, боясь, чтобы там, рядом с ней, не услышали:

– Я не могу сейчас говорить, ты не звони, больше не звони, я тебе сама потом позвоню, честное слово! – и бросила трубку.

Но она не могла ему позвонить, в новой квартире у него не было телефона. (Отец носил на телефонную станцию ходатайство с завода: мол, старшему мастеру по работе необходима постоянная связь, просим ускорить подключение. На станции над его бумагой только посмеялись, очередь там была лет на пять.)

Григорьев мучался с неделю и в конце концов уверил себя: Стелла чем-то была взволнована, позабыла, что теперь у него телефона нет, а когда успокоится и вспомнит, сама же расстроится. Значит, ничего страшного не случится, если он позвонит ей еще раз. Это даже необходимо!

Позвонил вечером из уличного телефона-автомата. Сердце колотилось под самым горлом, еще сильней, чем на почте в Зеленогорске.

Трубку взяла Александра Петровна, и, едва он выдавил «Стеллу позовите, пожалуйста…», вдруг закричала, – конечно, не узнав его, – закричала с неожиданной яростью, непонятно к кому обращенной, но значит, и к нему тоже, словно охлестывая его по лицу:

– Всё звоните?! Успокоиться не можете?! Нету Стеллы! Уехала! Через три года звоните!! – и бухнула трубку.

Он долго стоял в телефонной будке с горящим лицом…

Через месяц отозвалось в димкином письме: «А ты, наверно, и не знаешь, Стелка дуреха завербовалась к своему хахалю на север. Не было меня, я бы ей мозги куриные прочистил».

Но это была уже лишняя, даже ненужная ясность. Главное он понял тогда, в конце августа, когда темным вечером ходил по своей пустынной улице новостроек: Стеллы больше не будет. Стелла не поможет ему.

И всё же, оказалось, в чем-то она ему помогла, сделав его мужчиной. Она защитила его от других девушек. Их тайна, тягучая, темная, раскрылась и предстала такой же простой, как их тела. Она защитила его от всех. Кроме Нины.

Он понял свою обреченность в первый же день занятий после каникул, едва только снова увидел Нину, еще издалека. Увидел, как она осторожно проносит себя сквозь студенческую толпу, чуть изменившаяся от летнего загара и оттого нестерпимо красивая (неужели остальные этого не видят?!). Ее точно приближало к нему болезненной оптикой. Он видел, что ее глаза на посмуглевшем лице стали еще больше и светлей. Как раз тогда у девушек было модным по-восточному удлинять очи, проводить черные, синие, даже зеленые стрелочки от уголков глаз к вискам. А Нина только подкрашивала ресницы черной тушью, так

что они – длинные, гордые, каждая ресничка отдельно от остальных, – трогательно подчеркивали влажную голубизну взгляда.

И накатившую эпоху мини-юбок она тоже не замечала. На ней всегда были длинные, строгие платья, простые, но казавшиеся ему царственными. Взрослая богиня шла среди суетливых девчонок с голыми коленками.

Однажды в самом начале сентября, в летнюю еще духоту, в маленькой нагретой солнцем аудитории, он как всегда примостился позади и чуть сбоку от Нины. Она была в легком платье без рукавов и сидела за столом, раздвинув локти, как обычно сидят девушки, когда им жарко. Он быстрыми, воровскими взглядами ласкал ее профиль, ее гладкое смуглое плечо. И вдруг, – он даже вздрогнул от увиденного и опустил глаза, – он заметил волосы, выбивающиеся у нее из-под мышки…

То было потрясение. Конечно, он сознавал, что, при всей своей божественности, Нина – обыкновенная земная девушка. Но эти тайные темно-русые завитки, чуть блестевшие от пота, делали ее уж слишком земной, уравнивали с той же Стеллой… От таких мыслей голова шла кругом.

Пугаясь, он пытался представить Нину на месте Стеллы в «Морском прибое» – обнаженную, раскрытую, в судорожных движениях, с безумным лицом. Но ничего не получалось, его воображение оказывалось бессильно. Он понимал: это оттого, что Нина – в чем-то главном – совсем иная, не такая как Стелла. И чувство, которое он испытывает к Нине, – другое. Но ведь он тоже – земной. Стало быть, конечная цель его чувств, пусть он даже боится думать об этом, всё равно та же: он хочет, чтобы Нина физически принадлежала ему. Или с Ниной этого будет мало?

Так что же это было, похожее на удушье? Наверное, действительно любовь. Та самая, «настоящая», по измерениям Али. И значит, если бы Стелла не уехала, он предал бы ее тогда? Значит, и от предательства она его оберегла?

Ах, этот возраст, восемнадцать-девятнадцать лет, когда, кажется, ты мал и беззащитно открыт, а внешний мир фокусируется и течет сквозь тебя мощнейшими пульсирующими токами! Бежали, перекрещиваясь, институтские «эскалаторы» – второй курс, теормех, сопромат, веселая толкучка студенческих потоков в дверях амфитеатров-аудиторий, резкий запах аммиака и уксусной кислоты в химических лабораториях, строевая подготовка в асфальтовых внутренних двориках на глазах смеющихся девушек.

И – Нина, Нина… С расстояния почти в двадцать лет так жаль того мальчика, что брел после занятий по улицам, оглушенный и раздавленный любовью. Быть может, любовь вообще неестественное состояние для человека? Естественно то, что дает свободу. А любовь не просто стесняет, она – обезличивает. Как одно и то же заболевание вызывает у самых разных людей одинаковое повышение температуры, одинаковый кашель, одинаковую ломоту в суставах, так и любовь вызывает одни и те же болезненные симптомы, одни и те же бессмысленные действия.

Он тоже исполнил тогда весь набор глупостей очумевшего от любви мальчишки. Началось, конечно, с писем, горячечных и рабских (адрес ее он подсмотрел в журнале группы). Он писал письма по ночам. Бросал в почтовый ящик утром, по дороге в институт, невыспавшийся и разбитый. Через несколько дней – по смятению Нины при его появлении в аудитории, по тому, как испуганно прятала она глаза, – догадывался с ужасом, что она получила письмо, что это, конечно, ничего не изменит, лишь оттолкнет ее окончательно, что теперь уже всё погибло! А через несколько дней писал следующее…

Болезнь, которой он сдался, неумолимо управляла им по своим законам. И на смену отчаянию от унижения следующей стадией явилась решимость отчаяния. Готовность унижаться взахлеб, не стыдясь. Если раньше в аудиториях он старался сесть неподалеку от Нины

как бы случайно, то теперь занимал место рядом с ней, почти не скрываясь, а во время занятий почти в открытую на нее смотрел.

Однокурсники сперва посмеивались над ним, потом притихли. Сверхчутьем, особенно обострившимся в эту пору, он улавливал даже сочувствие парней и еще нечто странное, что-то вроде их недоумения: как можно любить именно Нину? Такое сочувствие не вызывало благодарности, скорей бесило: неужели они не видят, какая она?!

Всё, что он проделывал месяц за месяцем, было абсолютно лишено расчета. Не надеялся же он, что она полюбит его за все эти выходки! Но оказалось, в бессмысленной, бредовой ненормальности, распаляемой жаром любви-болезни, была своя логика, которую он и не сознавал. Нескончаемым безрассудством он расшатывал ее величественное спокойствие. Она должна была бы резко отогнать его прочь, но, коль скоро у нее, деликатной, нежной, не хватило на это решимости, ей не оставалось ничего другого, как терпеть его.

Вначале – только терпеть, беспокойно и пугливо. А затем – всё более к нему привыкая. Он становился для нее ПРИВЫЧНЫМ и, значит, мог понемногу приближаться к ней.

О, какое то было счастье! Неповторимое девятнадцатилетнее счастье, когда грудь раздувается от восторга, как воздушный шар, – вот-вот взлетишь, – и движения невесомы! Она не любила его, она лишь относилась к нему снисходительно, как к чему-то неизбежному, – пусть! Он переживал время потрясающих открытий.

Какое это было чудо – сидеть на лекциях уже не в стороне, а рядом с ней, за одним столом, в такой головокружительной близости, что можно было наслаждаться, тайком втягивая в себя с дыханием овевавший ее теплый, чуть горьковатый аромат, а скосив глаза, замечать на носу и на щеках ее трогательные до восторга золотисто-белые пылинки пудры!

Каким чудом было провожать ее каждый день после занятий, а после того, как она дружески и чуть насмешливо прощалась с ним у своего дома, плыть дальше по улицам, взлетая и опускаясь на волнах счастья.

У них само собой (вслух об этом не было произнесено ни слова) установилось нечто вроде негласных правил, которые он обязан был соблюдать. Его писем к ней, тех, ночных, как бы не существовало никогда, и больше писать ей он не имел права. Тем более, он не мог сказать ей в лицо о своей любви и не смел дотронуться даже до ее руки. Ему позволялось идти рядом, говорить о чем-то, что не касалось их двоих, – и только.

Он был на всё согласен и за всё благодарен. Шагая рядом с ним, она почти всегда молчала. Пусть! Он говорил сам, говорил, кажется, обо всем на свете, боясь замолкнуть, боясь, что ей станет скучно с ним. Наверное, то было самое лучшее время его любви…

Годы имеют свой цвет и контур. Тот период – конец 1965-го, начало 1966 года – остался в памяти чистым, серо-стальным, прямолинейным, словно из новеньких металлических конструкций. Во главе страны – три скромнейших и как бы равноправных между собой руководителя: Косыгин, Брежнев и Подгорный. Общий настрой – спокойствие и деловитость. На долгожданном сентябрьском пленуме раздались призывные слова: «Реформа», «Хозяйственная реформа», «Экономическая реформа»! Они зазвучали по радио и с телевизионных экранов, замелькали в газетах, расплескались во множестве книг и брошюр, стремительно докатились до институтских аудиторий. Аккордами в мелодии выделялись: «Хозрасчет», «Инициатива», «Фонды предприятий». Положения реформы, понятные, убедительные, они заучивали к экзамену, как математические правила.

Одно смущало: если всё так очевидно, если реформа, как говорят, переход к нормальной хозяйственной жизни, то какого дьявола почти пятьдесят лет жили ненормально и мучались?!.. Хотя, это было лишнее свидетельство того, как повезло им самим. Время по-прежнему работало на их поколение, первое поколение будущего. Реформа должна была завершиться к концу шестидесятых – началу семидесятых. Как раз тогда, когда они закончат

учебу и придут на обновленные заводы, в перестроившиеся НИИ, чтобы с самого начала работать без нелепых стеснений, в полную силу.

Еще выходили, появлялись на прилавках и в библиотеках новые книги о культе личности, о поражениях начала войны, репрессиях, лагерях, но всё реже, реже, словно иссякая. Нигде не сказанное вслух, как бы носилось в воздухе и негромко звучало: «Хватит откровений об ужасах сталинизма! Прошлое не сплошь черно, да и думать сейчас нужно – о будущем. Не копаться в старых, засохших ранах, а трудиться, трудиться!» Звучало – и не вызывало внутреннего протеста.

Кольнул какой-то нелепый, крикливый судебный процесс над двумя никому не известными писателями – Даниэлем и Синявским. Конечно, натворили дел: придумывали черт знает какие гадости, вроде того, что в Советском Союзе объявляются дни разрешенных убийств, издевались над нашей жизнью, тайком переправляли всё это на Запад и там печатали. Ну глупо, ну подло. Но всё же – зачем поднимать такой шум? Зачем сажать их, как уголовников? Выгнали бы на этот самый Запад, раз они туда так тянутся, и забыли про них!

Читать статьи о процессе было тяжело. Причины газетной злобы, ее глубинный смысл, до конца были непонятны. Вспоминалось из детства: нечто подобное они ощущали, когда читали книжки о «русском первенстве», о том как братья Райт украли идею самолета у Можайского.

Но вот же, в те самые дни, когда судили и проклинали хулиганов-писателей, советская автоматическая станция впервые в истории совершила мягкую посадку на Луну. Значит, в остальном, в главном, всё идет нормально, раз мы по-прежнему впереди?

И тут же – горе: умер Королев. Только теперь узнали его фамилию, а прежде, сколько ни писали про него, называли по должности: «Главный Конструктор космической техники». Ни имени, ни одной черточки внешности, безымянный человек-невидимка. И вот его фотографии – на первых полосах, в черной рамке.

А настоящие тревоги приходили извне. Там, за крепкими рубежами страны, буйствовал безумный мир. Газеты и радио захлебывались от событий. Бои в джунглях Южного Вьетнама и непрерывные налеты на Северный. Ежедневный, всё растущий итог общего числа сбитых самолетов: пятьсот, семьсот, девятьсот… Хоть понемногу это становилось привычным, не так бурно воспринималось, как в первые месяцы, всё же в воздухе, которым дышали, непрерывно ощущался жар и слышались громовые раскаты недальней этой войны.

Ошеломили события, грянувшие в Индонезии. Кажется, только вчера одной из самых популярных мелодий была песенка о ней: «Тебя лучи ласкают жаркие, тебя цветы одели яркие, и пальмы стройные раскинулись по берегам твоим! Ты красот полна. В сердце – ты одна…» Под эту песенку в недавние годы плыли на экранчике телевизора и пальмы, и прибой у цветущих берегов, и смеющиеся, счастливые темные лица наших друзей индонезийцев. И вдруг – чудовищный взрыв! Писали о резне коммунистов, о СОТНЯХ ТЫСЯЧ изрубленных трупов, плывущих по тропическим рекам, покрасневшим от крови. Как же так?!..

Всё это происходило в дальнем мире, а в ближнем, но тоже внешнем, неподвластном ему, – царила Нина. И оттого трудно было писать письма Димке, трудно встречаться с Мариком, – ведь говорить о самом главном, о Нине, было нельзя. И они виделись с Мариком всё реже, всё короче. Оба чувствовали, что между ними осталось мало объединяющего и они говорят не о том, что в самом деле важно для обоих. Но – странно: взаимное непонимание не разводило их до конца. Словно они сознавали, что будут еще нужны друг другу, а сейчас – просто полоса, которую надо пройти.

Когда он провожал Нину после занятий, она выслушивала его нескончаемые монологи о книгах, кинофильмах, политике, науке, хоть и благосклонно, однако довольно безразлично.

Сверхчутье ему не помогало: оно улавливало только настроение Нины (почти всегда спокойное), но не позволяло проникнуть глубже, понять, о чем же она думает.

Нина оживлялась и заговаривала сама только тогда, когда речь заходила об институте. Ее по-настоящему волновал и возбуждал институтский мир – лекции, лаборатории, преподаватели. Она даже шутила и смеялась, говоря об этом. Улыбка делала ее особенно красивой, у нее были чудесные, ровные белые зубы. Он откровенно любовался ей, а она, обычно недовольная его слишком пристальными взглядами, в такие минуты их не замечала. Но стоило разговору отклониться от институтских дел, она вновь умолкала с доброжелательно-безразличным видом. Опять говорил он один, обращаясь к ней словно сквозь толстое стекло.

А переломилось всё – неожиданно. Был конец марта 1966-го, слепящий весенний день, прозрачный солнечный воздух. Занятия окончились раньше обычного, Нина не спешила домой, они вместе пошли по городу. Забрели к Неве, поднялись на середину Кировского моста, которая всегда казалась ему вершинной точкой Ленинграда. И, стоя над сверкающим черно-белым крошевом льда, он сказал ей:

– Смотри, мы как будто в центре ожерелья! Понимаешь? Как настоящие драгоценные камни отзываются на любое освещение, так и всё это, – он указал на Стрелку Васильевского острова, на Петропавловскую крепость, на Дворцовую набережную, – точно ювелиром-великаном впаяно в пространство неба и реки, и на любую перемену погоды, хоть солнечной, хоть пасмурной, отвечает бесконечной игрой цветов и граней…

Он сбился оттого, что Нина смотрела на него как-то необычно. Вдруг осознал эту необычность: она смотрела ему прямо в глаза, ее взгляд сливался с его взглядом (значит, раньше она всегда смотрела мимо!). И сверхчутье улавливало – впервые! – заинтересованность ее и даже благодарное удивление.

Она улыбнулась:

– А разве ты настоящие драгоценные камни когда-нибудь видел?

– Нет, – честно признался он, – не видел.

Они рассмеялись, и этот смех, и взгляд глаза в глаза были их первым сближением. У него перехватило дыхание, закружилась голова. Он взял ее руку, стащил перчатку, стал торопливо целовать нежные, тонкие, теплые пальцы, бормоча что-то бессвязное:

– Ты не понимаешь!.. Прости!.. Ты пойми, пожалуйста!..

Она осторожно, но решительно отняла руку. Сказала, словно жалея его, невероятные слова:

– Да всё я понимаю.

Он, плохо соображая, снова потянулся за ее рукой. Тогда она уже засмеялась, выхватила у него перчатку, убрала руки назад и, глядя ему в глаза, сказала:

– Ну перестань! Не надо сейчас.

Ее слова потонули в грохоте прокатившегося по мосту трамвая, но он понял: не надо – «сейчас». Сейчас и здесь, потому что мимо проезжают трамваи, идут редкие прохожие. «Не надо» только поэтому. В тот день он больше ни на что не осмелился. Но на следующий, когда проводил ее, как обычно, и они уже остановились возле ее дома, он набрал побольше воздуха в грудь и быстро выговорил:

– Можно к тебе зайти?

Нина опустила глаза. Он ждал с колотящимся сердцем. Не сказав ни слова, она только чуть кивнула.

Это было следующим его завоеванием: право приходить к ней домой. Нина жила вместе с родителями в одной полутемной комнатке окнами в петербургский двор-колодец. Здесь величавость ее как-то исчезала. В сумрачной тесноте, среди неуклюжей старой мебели она выглядела поникшей. Ему-то самому любое ее жилище показалось бы прекрасным, но, наблюдая за Ниной, с состраданием любви он соглашался про себя: да, конечно, не для нее

эти давящие стены, длинный коридор коммуналки, шумная, дымная общая кухня. Ее светлая красота несовместима с бытом, и он будет оберегать ее! Если она выйдет за него замуж, в их жизнь не проникнет ничто будничное, житейское, унизительное!

Он понравился ее родителям, чем-то похожим на его собственных, – таким же простым, добродушным людям, прошедшим и войну, и черную работу, гордым оттого, что единственная дочь получает высшее образование. Он и радовался, ощутив в них союзников, и стыдился, не хотел их участия. Решить всё должна была только Нина.

Впервые они остались вдвоем у нее в комнате, когда по телевидению передавали праздничный первомайский концерт. Знаменитый квартет «Ярославские ребята», налегая на «О», пел злободневные куплеты:

Караван подводных лодок
С нашей красною звездой
Проложил свою орбиту
(Ой – да)
Вокруг света под водой!

Это была одна из сенсаций той весны 1966 года: группа советских атомных лодок (сколько именно – не сообщали, тайна) совершила подводное кругосветное плавание.

Янки бомбу потеряли,
В море не могли найти.
Попросили бы Горшкова,
(Ой – да)
Подобрал бы по пути!..

В зрительном зале вспыхивали смех, аплодисменты.

Нина внимательно смотрела на экран телевизора и тоже улыбалась. Он понимал: не так уж она восхищается мастерством и глубиной мысли «Ярославских ребят». Это от смущения, ведь они впервые вдвоем. Это для того, чтоб избежать разговора с ним.

Он встал и убавил громкость.

– Зачем? – спросила Нина, не глядя на него. – Я хочу послушать.

– Ну, они же глупости поют! Что смешного в том, что американский бомбардировщик развалился и водородные бомбы из него выпали? Хорошо, что ни одна не взорвалась, ни на суше, ни та, которая в воду упала, а то бы половину Испании смело. А если бы не над Испанией это случилось, а возле наших границ?

Ему понравилось, как умно и решительно он это сказал. И независимо, даже смело: концерт шел в присутствии правительства и «глупостям» аплодировали первые лица государства.

Нина пожала плечами. А его током пробило отчаяние: да что же он за болван такой! Впервые в жизни с ней наедине – и городит какую-то чепуху о водородных бомбах! Ведь они вдвоем, одни в комнате, нереальность, чудо… И без всякого перехода он сказал горячо, на одном дыхании, так, словно душу выдохнул из себя и осталась только легкая, пустая оболочка тела:

– Нина, я тебя люблю, выходи за меня замуж!

Она посерьезнела. Ответила почти так же, как месяц назад на мосту:

– Не надо об этом… сейчас.

– А когда же можно будет? – глупо спросил он. Сразу понял, что глупо, и опять обругал себя.

Она улыбнулась, снова чуть пожала плечами. Но в нем – наконец-то – вскипело самолюбие. Мужчина же он, в конце концов! Мужчина, а не мальчишка (вспомнил)! Встать, шагнуть к ней, схватить за высокие плечи, притянуть к себе, впиться губами в ее бледные, прекрасно очерченные губы, в ее дыхание…

Он не сдвинулся с места. Только угрюмо сказал, решимостью голоса, как щитом, прикрывая отчаянное биение сердца и дрожь в коленях, – сказал, словно приказывая ей:

– Тогда – осенью. На третьем курсе.

Бог знает, с чего мелькнул в его распаленном мозгу и слетел с языка именно этот срок. Будто не только ей, но и себе самому назначал отсрочку, в глубине души еще пугаясь перехода во взрослую жизнь.

А решилось всё окончательно через несколько дней, когда они, тоже впервые, пошли вместе в театр.

Нине хотелось в Большой Драматический, посмотреть «Луну для пасынков судьбы» или «Цену», товстоноговские новые спектакли. Но туда рвался весь город. Григорьев бегал по театральным кассам без всякого успеха. Кассирши – особая женская порода, выхоленные красавицы от тридцати до сорока (благоухание неведомой заморской косметики доносилось даже сквозь окошечко), – не поднимая глаз, небрежно бросали: «Нет!» Лишь одна посмотрела на его расстроенную физиономию и немного сжалилась:

– В БДТ лучше не спрашивайте! Хотите – в Пушкинский, «Перед заходом солнца», с Симоновым?

Нина, узнав, куда они пойдут, лишь пренебрежительно усмехнулась:

– Да он же всегда играет одинаково, что в «Петре Первом», что в «Человеке-амфибии»! Одни и те же придыхания, вскидывание головы, пафос ненатуральный. Ну, раз уже взял, – пойдем.

Его почему-то поразили слова Нины. Даже не то, что ей не нравилась игра Симонова, а то, как она рассуждала об этом. Едва ли не впервые он услышал ее собственное мнение, пусть такое, с которым не был согласен, однако говорившее о наблюдательности ее и способности мыслить. И тут же он осознал, что удивляться должен, скорее, самому своему удивлению: значит, его поразило то, что Нина оказалась способна думать! Что же получается, преклоняясь перед ней, он ее дурочкой считал, свою любимую?..

В огромном зале Пушкинского театра медленно погас свет. Шурша и поскрипывая, разъехался красный бархатный занавес. И сцена раскрылась окном в странный мир. Вроде бы перед ними была Германия, но не поймешь какой эпохи. Ни отзвука, ни предчувствия мировых войн, бомбежек, концлагерей. То ли девятнадцатый век, то ли раннее начало двадцатого. А скорей всего, просто некая страна вне времени и земного пространства, такая же условная и нереальная, как условен и нереален показался на первый взгляд сюжет – любовь семидесятилетнего старика и молодой женщины. И уже сверхъестественно, магически нереален был тот, кто царил в этом мироздании: тяжело передвигавшийся по сцене, высокий, сутуловатый, седой, с яростными глазами и хриплым, порой дребезжащим на высоких нотах голосом.

Когда он в первый раз вскинул голову, чтобы ответить на реплику партнера, Григорьеву вспомнилась ирония Нины. А уже в следующую секунду для него и для всей тысячи людей в многоярусном зале не существовало больше ни собственной их жизни с заботами и радостями 1966 года, ни даже памяти о том, что находятся они всего-навсего в театре, куда попали, заплатив по рублю за билет, и что перед ними – с детства знакомый по фильмам и другим спектаклям актер, о котором не только Нина, многие с насмешкой говорили, что он

давно уже спился, выдохся, отыграл свое. Они не то, чтобы подчинились этому человеку, – они просто оказались в мощном, физически ощутимом поле его абсолютной власти.

– О чем эта книга? – спрашивал он на сцене.

– О жизни и смерти, – отвечали ему.

– ЛЮБАЯ КНИГА – О ЖИЗНИ И СМЕРТИ! – назидательно говорил он, и от этих простых слов (не бог весть какая мудрость), но сказанных ЕГО голосом, захватывало дух, точно от раскрывшейся внезапно высоты.

Встревоженные сумасбродством старика, испугавшиеся за наследство взрослые дети пытались разлучить его с любимой. Он слушал их, собравшихся за столом, тяжко поводя большой седой головой, медленно вскипая яростью. И вдруг – эта ярость прорвалась! Он вскочил, неистово затопал ногами. Зал – до самых отдаленных уголков в вышине – завибрировал от его громового крика:

– Я никому не позволю погасить свет моей жизни!!

В бешенстве он схватил со стола попавшуюся под руку рюмку, с размаху швырнул ее об пол – и поник, обессиленный, обмякший, тяжело переводя дыхание.

Во внеземной, вакуумной тишине после взрыва (ни скрипа кресел, ни шороха, ни кашля) единственным отчетливо слышимым звуком во всем громадном затемненном зале осталось тихое позвякиванье катившейся по сцене рюмки. Казалось, вся тысяча людей напряженно прислушивается к нему.

Григорьеву и Нине, сидевшим в боковом ярусе, было видно сверху, как рюмка подкатилась к самому краю сцены. Дальше была оркестровая яма, накрытая покатой решеткой из деревянных брусьев. Рюмка, продолжая тихо позвякивать, поблескивая в прожекторной подсветке, с шальной точностью прокатилась над всей ямой по одному из брусьев, со стуком упала к ногам зрителей первого ряда, – и никто из них, окаменевших, не шелохнулся, даже не вздрогнул…

В тот вечер, провожая Нину домой, Григорьев сказал ей:

– Об этом только детям и внукам рассказывать, как о чуде. Мы своими глазами видели великого артиста в его лучшей роли.

Нина промолчала.

Он повторил уже настойчиво, требовательно:

– Мы будем об этом НАШИМ детям и внукам рассказывать, правда?

Нина молчала. Они шли вдвоем по пустынной вечерней улице, приближаясь к ее дому.

Он остановился – и вдруг схватил ее за плечи и решительно повернул к себе. Она подчинилась, опустив глаза, избегая его взгляда.

– Будем?! – в отчаянии добивался он и, кажется, даже встряхнул ее: – Будем?!

Она поморщилась, чуть повела плечами. Он испугался, что сделал ей больно, поспешно отпустил ее.

Нина улыбнулась. Тихо ответила:

– Это ТЫ будешь рассказывать. Мне его игра всё равно не понравилась.

Наверное, с минуту, пока он осознавал смысл ее слов, они так и стояли друг против друга. Потом он снова, уже бережно, взял ее за плечи, привлек к себе. С помутившимся разумом впервые ощутил своей грудью легкое прикосновение ее груди и, зажмурившись, потянулся к ее рту.

Губы Нины не шевельнулись в ответ на его поцелуй. Но она и не отстранилась.

Потом было лето. Студенческая стройка в Киришах, где возводили нефтекомбинат. Растянувшийся по берегу Волхова палаточный городок – сотни палаток, выцветших, дырявых, расписанных дурашливыми надписями и рисунками. В этом громадном лагере сошлись стройотряды трех институтов. Здесь были свои улицы и переулочки, вытоптанные в траве до

земли между рядами палаток. Были свои административные центры – вагончики с репродукторами, где помещались штабы отрядов, а возле них – кое-как сколоченные бараки-кухни, источавшие из всех щелей дым и жар топившихся дровами плит, да крытые толем навесы над дощатыми обеденными столами и скамейками.

Сама работа была незатейливой: лопаты в руки – и всем, даже девушкам, рыть канавы. Для водостоков, для укладки труб.

Им выдали «форму» – старые, списанные с флота тельняшки и бушлаты. Но днем, когда работали на солнцепеке, они сбрасывали с себя почти всё. Ребята оставались в одних плавках, девушки – в купальниках. Голые тела блестели от пота. Едва рабочий день заканчивался, первым делом бежали к Волхову, скатывались с крутого глинистого берега в мутную воду – смыть с себя пот и грязь.

Он уже открыто «состоял» при Нине. Вместе со своими вещами носил и ее вещи: одежду, связанную в узелок, резиновые сапоги, лопату. И работал на канаве рядом с ней. А когда присаживались отдохнуть, у ее ног валился на землю, готовый по одному ее слову подняться и пойти – то с флягой к колонке за водой, то через поле в поселок, купить в местном магазинчике или на почте то, что ей срочно понадобилось: кулек конфет, пачку печенья, конверт.

Всё происходило на глазах у всех, но уже не вызывало большого интереса. Все знали, что он любит Нину, а она позволяет ему себя любить, и что шутки здесь неуместны, дело серьезное.

Да и Нина не злоупотребляла своей властью над ним. Она никогда ничего ему не приказывала, только просила. А потом всякий раз благодарила. Пожалуй, даже слишком громко благодарила. Может быть, так проявлялась ее застенчивость? Она словно показывала всем, что никакой особенной близости между ними нет.

Он понимал ее несложную игру и сам подыгрывал, не выходя из отведенной ему роли: да – влюбленный мальчишка, да – расстояние между ними пока сохраняется. Но в нем уже пробуждались иные чувства. Украдкой, но цепко и жадно оглядывал он и оценивал Нину в купальнике. У нее были длинные, стройные ноги, красивая грудь. Только нижняя часть тела казалась недостаточно развитой, узковатой и плоской. Для него Нина была прекрасна и так, но он вспоминал услышанное от других, прочитанное в книгах о том, как раздаются и оформляются девичьи бедра после замужества, после первых родов. И не столько вожделение, сколько горделивое чувство будущего властелина вызывало у него тайную насмешку над ее стеснительностью, предвкушение торжества и счастья…

На белой кирпичной стене заводского корпуса, мимо которого они вели свою канаву, красными кирпичами – на десятилетия вперед – был выведен лозунг: «Решения декабрьского пленума ЦК КПСС – в жизнь!» Сразу и вспомнить не могли, что это за пленум такой. Потом догадались: тот самый, хрущевский, шестьдесят третьего года, о химизации. Надо же, всего два с половиной года прошло, а кажется – так много перемен. Или, может быть, просто дело в том, что они сами стали старше на эти два с половиной года, в их возрасте – срок громадный?

Один из студентов, «старик», парень бывалый, успевший отслужить в армии, оглядывая канаву и почесывая щетину на подбородке (все ребята на стройке не брились, девушки немало потешались над их заросшими физиономиями), задумчиво сказал Григорьеву: «То, что мы всей оравой за месяц выкопаем, один экскаватор с двумя экскаваторщиками за неделю прошел бы. А траншеекопатель армейский – за день!»

Григорьев и сам понимал нелепость их работы. Но какое значение могли иметь скучные деловые рассуждения по сравнению с тем, что он испытывал. По сравнению с великолепным мускульным напряжением, солнцем, щедро обливающим тело, сырым, свежим запахом разрытой земли и дерна. По сравнению с блаженными минутами отдыха, когда, лежа на траве,

парни покуривали, а девушки шептались о чем-то и посмеивались, на них поглядывая. По сравнению с чудесной, застенчивой и благодарной улыбкой Нины, когда она протягивала руку за принесенной им флягой и внимательно смотрела ему прямо в глаза (наверное, для того, чтобы он не мог опустить свой взгляд на ее почти обнаженное тело).

Но САМОЕ ГЛАВНОЕ начиналось тогда, когда они возвращались с работы в лагерь. И этим самым главным были – ПЕСНИ.

На него они обрушились внезапно. Как сумел он дожить до лета 1966-го, почти ничего о них не зная, объяснить трудно. Слишком, наверное, был поглощен учебой, книгами, любовью к Нине. Что-то слышал, конечно, о «самодеятельных авторах», о клубе «Восток». Ребята в институте обменивались катушками пленок, обсуждали: «А эта у тебя на какой скорости записана?», «А ты на каком маге переписывать будешь?» Он и сам не раз собирался послушать, но как-то всё не выходило. А в палаточном городке над Волховом…

Песни встречали их уже на подходе к лагерю, когда они, усталые, грязные, тянулись туда после рабочего дня. Из репродуктора, вознесенного на столбе над штабом-вагончиком Физхима, гремел голос Городницкого:

У Геркулесовых Столбов
Лежит моя дорога.
У Геркулесовых Столбов,
Где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши,
Ты подожди немного…

А со стороны штаба Целлюлозно-бумажного института отвечал ему голос Юрия Кукина:

Поезд – длинный, смешной чудак,
Знак рисует, твердит вопрос:
«Что же, что же не так, не так?
Что же не удалось?..»

В штабных вагончиках меняли и меняли катушки на магнитофонах. Они купались в Волхове, ужинали, стирали одежду, а над их головами насмешничал Ким:

Генерал-аншеф Раевский зовет командиров:
«Чтой-то я не вижу моих славных бонбондиров!»
А командиры отвечают, сами все дрожат:
«Бонбондиры у трактира пьяные лежат!..»

Горевал и бахвалился анчаровский Начальник автоколонны:

Верь мне, крошка, я всюду первый,
Как на горке, так под горой!
Только нервы устали, стервы,
Да аорта бузит порой…

Яростно выговаривал Галич:

Мы похоронены где-то под Нарвой,

Под Нар-вой,
Под На-рвой!..

Пели Клячкин и Дулов, Якушева и Вихорев.

Для него, жившего поэзией, это было открытием: рядом с миром печатных стихотворных сборников и тех песен, что исполнялись по радио, на телевидении, записывались на грампластинках и продавались в музыкальных магазинах, существовал независимый и как бы незаконный, а вернее, живущий по собственным законам шумный и яркий поэтический мир.

В этом мире ощущалась никем не установленная, сама собою сложившаяся иерархия авторов. Особняком, как бы в стороне от других, стояли двое: Окуджава, казавшийся уже тогда пожилым классиком, и молодой Высоцкий, еще альпинистский («Парня в горы тяни, рискни!..»), а больше – блатной («Сгорели мы по недоразумению: он за растрату сел, а я – за Ксению…»). Над всеми же остальными царил Юрий Визбор:

Спокойно, товарищ, спокойно,
У нас еще всё впереди!
Пусть шпилем ночной колокольни
Беда ковыряет в груди…

Доброта и доверительность его голоса были обращены сразу ко всем и всех соединяли, жалея, утешая, ободряя.

И Визбору, и большинству других поющих поэтов едва исполнилось тридцать. Как же они были молоды, студенческие кумиры 1966-го! Но поэтический талант наделил их даром, если не пророчества, то предчувствия. Теперь понимаешь с непоправимым запозданием: то, что казалось в те дни лишь данью романтике – требование мужества, – было в действительности предупреждением, первыми позывными из будущего:

Спокойно, дружище, спокойно,
И пить нам, и весело петь!
Еще в предстоящие войны
Тебе предстоит – уцелеть.
Уже и рассветы проснулись,
Что к жизни тебя возвратят.
Уже изготовлены пули,
Что мимо тебя просвистят…

В сумерках между рядами палаток, всегда на одних и тех же местах, загорались костры. К каждому подсаживался свой постоянный гитарист, иногда двое, а вокруг собирались десятка два-три студентов. И здесь продолжались, продолжались песни. Пели то, что днем слышали в записях, и пели новое, то, что не успело еще добраться до штабных магнитофонов, перелетело откуда-то по слуху и сразу было подхвачено студенческими голосами и аккордами дешевеньких гитар.

Вокруг вились гудящие тучи комаров. Ребята и девушки пели, отмахиваясь, подергиваясь, почесываясь. В штабном вагончике предлагали для защиты диметилфталат (из института привезли его целую бочку). Загорелые лица, намазанные маслянистым диметилфталатом, блестели в отсветах костров, как глазурованные глиняные маски.

Нина никогда не пела сама. А он не удерживался, пел. Хоть и чувствовал, что надо бы помолчать вместе с ней, так будет взрослее, солиднее.

Но всё же песни задевали и Нину: слушала она внимательно. А когда порой он поднимался с земли, брал ее за руку и говорил: «Пойдем вон к тому костру, там послушаем!», – она покорно шла за ним и руку отнимала не сразу.

С ними рядом у костра обычно оказывалась Таня Генделева, студентка их группы, маленькая, некрасивая, выглядевшая старше своих двадцати лет. Ее коротко, по-мальчишески остриженные волосёнки были такого неопределенно-рыжеватого цвета, что, отблескивая, казались седыми. А темное от веснушек личико, выпуклые голубые глаза, смотревшие с доверчивым испугом, и сухонькая, сутуловатая фигурка окончательно придавали ей облик молодой старушечки.

Таня пела, глядя не на гитариста, а на Григорьева. Она и днем следила за тем, как он прислуживает Нине. Следила издалека, украдкой, но он всё равно это замечал и понимал с тоской нечаянной вины: Таня его любит. Не нужно было и сверхчутья, чтоб догадаться: всё явно было написано у нее на добродушном, некрасивом личике. Она ни на что не претендовала, даже сочувствовала его любви к Нине. Только и позволяла себе – петь вместе с ним вечерами, словно это сближало их…

Расходились от костров по своим палаткам часа в два ночи, проваливались в мгновенный черный сон. А в шесть утра из динамика во всю мощь раздавался сигнал побудки: нечеловеческий, душераздирающий визг певицы – «ХаллиГа-алли-и!» – и оглушительная музыка. Вылезали из палаток, сонные. Брели к дощатым уборным, к умывальникам. А над лагерем, над утренним, подернутым белёсой дымкой Волховом уже звучал голос Визбора:

Ищи меня сегодня среди больших дорог,
За океаном, за большой водою,
За синим перекрестком двенадцати ветров,
За самой ненаглядною зарею…

Всё лето они не говорили с Ниной о свадьбе. Молчаливо подразумевалось, что главное уже решено, а точный срок определится как бы сам собою. Но в сентябре, едва начались занятия на третьем курсе, он потребовал ответа: «Когда?!»

Нина посмотрела испуганно, без улыбки. Он всё понимал: Нина его не любит. Но ведь она не любит и никого другого. А он для нее – неизбежность, и это тоже завоевание. Полюби он другую девушку, он, может быть, завоевал бы ее иначе. А с Ниной вышло вот так.

Он настаивал:

– Когда?!

Она тихо сказала:

– Надо же хоть третий курс закончить…

– Значит, будущей весной? Или летом?

Она чуть улыбнулась, чуть пожала плечами. Во взгляде ее светилась непривычная покорность. Он понял: ее согласие не означает, что она ему хоть в чем-то поможет. Она выйдет за него, но осуществить всё, что для этого требуется, должен он сам.

В ближайшую субботу он привел ее домой, познакомить с родителями. Получилось – неудачней не придумаешь: мать, как назло, ушла куда-то, а отец сидел выпивший и, – чего Григорьев никак не ожидал, – почти не обратил на Нину внимания. Пришел сын с какой-то девушкой – ну и ладно. Отцу хотелось поговорить о заводских делах:

– Помнишь такого-то? – спрашивал он. – В инструментальный цех взяли, замначальником. А такого-то – помнишь? В отдел главного механика ушел, давно туда царапался, с бумажками-то легче!

Отец был доволен тем, что ввели пятидневку:

– Как хорошо отдыхать два дня! – (То-то ты клюкнул! – думал Григорьев, стыдясь перед Ниной и страдая.) – Вот реформа и началась. Пятидневка – первая ласточка. Может, еще и доживу, успею до пенсии поработать по-человечески!..

Григорьев проводил Нину. А когда вернулся, отец смотрел по телевизору какой-то фильм. Надо было с ним поговорить. Именно с ним. Главное – отец. Мать согласится на всё.

– Папа!

– Чего? – неохотно отозвался отец, не отрываясь от экрана.

Момент явно был неподходящим, но Григорьев чувствовал, что больше не выдержит:

– Папа, мы с Ниной решили пожениться!

Отец медленно повернулся и с изумлением посмотрел на него. Потом опять отвернулся к телевизору.

И тут стало страшно. До головокружения, до холода в груди и в руках. Даже объясняться с Ниной не было так страшно. Он знал, что запрет отца его не остановит, всё равно он поступит по-своему. Но неужели отец его не поймет?.. Сейчас только почувствовал, как дорога ему близость с отцом, как невыносимо станет жить, если она разрушится. Пусть даже это будет жизнь с Ниной.

Отец не спеша потянулся и выключил телевизор. Насупился. Посмотрел на него спокойно и недобро. Спросил:

– Тебе сколько лет?

– Мы поженимся в будущем году, когда сдадим зимнюю сессию. Мне тогда исполнится двадцать.

– А ей сколько?

– Ей уже двадцать один, – он хотел подчеркнуть возраст Нины, пусть отец не считает их такими уж детьми. Но тут же спохватился: отцу может не понравиться, что Нина старше. И добавил: – Ей только что исполнилось, в августе.

– В августе, – спокойно сказал отец. – Значит, на полтора года старше. Ну что ж, это хорошо. Может, хоть немного будет поумней тебя, балбеса.

– Я не балбес!

Отец был уже совсем трезв. Смотрел непонятно: лицо, вроде, было сердитое, но в глазах проскакивали веселые искорки. Может быть, впервые Григорьев заметил, как похожи они с отцом. Только у отца уже морщины, залысины, и кожа на лице покрасневшая, словно чуть воспаленная.

– Что ж ты не предупредил, что это – невеста? Я бы хоть посмотрел на нее внимательней… Хотя и так видно, что красивая. На кого-то похожа. На киноартистку какую-то, что ли?

Он ничего не ответил отцу. Нина не похожа ни на каких артисток!

– Красивая, красивая, – сказал отец. – Как всё равно… кукла подарочная.

Отец задумался о чем-то. Не глядя больше на Григорьева, покачал головой, отзываясь своим мыслям. И вдруг – повернулся и опять включил телевизор.

– Папа!

Отец оглянулся с недоумением:

– Что, сынок?

– Ты сам понимаешь – что!

– Не-ет, не понимаю.

– Хоть что-то ты можешь мне сказать?!

– А что тут говорить? – отец пожал плечами. – Не я же собрался жениться, ты. Ну и женись!

Он догадался: отец ведет себя так же, как Нина, – не будет против, но и не поможет. Значит, он один должен всего добиться.

Чего – «всего»? Едва он задумался над этим смутным «всем», как сразу начались неприятные открытия. Во-первых, совершенно неясно, где они с Ниной будут жить. Привести ее в свою квартиру, где две смежные комнатки разделены даже не стеной, а тонкой перегородкой с застекленной дверью, – немыслимо. Поселиться в одной комнате с ее родителями – тем более немыслимо. Значит, надо где-то доставать деньги и что-то снимать.

До сих пор он не нуждался в деньгах. Учился хорошо, всегда получал стипендию, а стипендия на их факультете – за будущую вредность и секретность работы – была на десятку выше обычной, целых сорок пять рублей. Из них рублей двадцать – двадцать пять он отдавал матери «на хозяйство» (так говорил отец, когда приносил свою получку), а остального ему вполне хватало на кино, сигареты и прочие мелочи. Конечно, жил он главным образом за счет родителей, его и кормили, и одевали. Но, когда они с Ниной поженятся, он должен будет зарабатывать на их собственное хозяйство самостоятельно. Иначе нельзя!

Кстати, об одежде. Никогда он не был ни «стильным», как говорили раньше, ни «модерновым», как стали говорить теперь, в середине шестидесятых. Всегда носил что подешевле да попроще. Вот и сейчас на нем клетчатая шестирублевая рубашка, брюки за пятнадцать рублей, пиджак за двадцать пять и девятирублевые туфли. Ему самому другого и не надо. Но, когда он станет мужем Нины, ходить рядом с ней по-простецки будет невозможно. Значит, опять нужны деньги. Причем, если стоимость мужской одежды он себе как-то представлял, цена всяких женских вещей, которые придется же покупать для Нины, виделась чем-то расплывчатым и астрономически далеким, как Туманность Андромеды… Но прежде всего, важнее всего – жилье!

Он не сердился на отца, он понимал, что отец прав. Вот – испытание для его любви. В старых наивных фильмах любовь рождала поток творчества у композиторов, прилив отваги у борцов за свободу. А ему, чтобы соединиться с Ниной, придется зарабатывать деньги. Тут уж ни наивности, ни красоты. И труд, который ему предстоит, вряд ли будет творческим. Пусть так! Он собирался в тугой комок нервов и мышц. Он докажет Нине, докажет отцу, что у него хватит сил!

В ту пору его почти не смущало, что, уже проводя рядом с Ниной все дни и вечера, уже готовясь стать ее мужем, он всё не мог пробиться в тайну ее мыслей, увидеть то, что видела она обращенным в себя взглядом лучистых голубых глаз, приветливо-безразличных ко всему окружающему. Лишь иногда студил сердце тревожный холодок от мысли, что он не приносит ей того будущего, которого она достойна, что, даже выходя за него замуж, она ждет этого будущего как бы не с ним вместе, а сквозь него.

Он мечтал о том, как всё изменится со свадьбой. Когда Нина станет принадлежать ему, тогда, действительно, солнце засветит по-другому!..

Но оказалось, что и свадьба ничего не изменила… Если б накануне ему предсказали это, он бы не поверил. Ведь самые лучшие дни были – накануне.

В феврале 1967-го, чтобы подать заявление во Дворец бракосочетаний, он выстоял в очереди на морозе несколько часов. Другие кандидаты в супруги стояли парами, женихи и невесты отпускали друг друга погреться. А он – только тогда, когда вплотную приблизился к заветной двери на улице Петра Лаврова, замерзший, скрюченный, проковылял в телефонную будку и позвонил Нине: «Скоро войдем, приезжай!»

И завертелось: подготовка, покупки, суета, беготня. Даже Нина была захвачена вихрем приготовлений, возбуждена и весела. Шутила, охотно целовалась с ним. А когда его руки становились уж слишком дерзкими, останавливала со смехом: «Не торопись!» И в голосе ее, казалось, звучало обещание.

Он чувствовал себя настоящим мужчиной. Он решил – сам, без всякой помощи! – две главные проблемы. Во-первых, нашел работу. Поспрашивал, побегал и выискал такое

– лучше не придумаешь: по ночам грузить на хлебозаводе хлеб в фургоны. Девяносто рублей в месяц! Инженеры в проектных институтах получают столько за ежедневный труд от звонка до звонка, а здесь – всего-то по три-четыре часа таскать чистые и не такие уж тяжелые ящики, даже не каждые сутки.

И завод – маленький, славный заводик, овеянный вкусным, теплым запахом, – оказался совсем недалеко от уютной однокомнатной квартиры, которую он, тоже сам, отыскал и снял на целых два года вперед. Ее хозяева завербовались куда-то на север. (Кольнула память об уехавшей туда же Стелле, о темно-зеленых ее, выпуклых диковатых глазах, о смешной раздвоенной нижней губе. Кольнула – и тут же выветрилась. Что было, то прошло, он перед ней не виноват!) Платить – всего сорок рублей хозяевам, да квартплату и за свет, – ну, полсотни с небольшим, совсем немного за отдельное жилье. Сейчас комнату в коммуналке снять – от тридцати до сорока, он во всем начал разбираться. Вот так-то! Даже у отца изменился тон: «Молодец, молодец, сынок! Учебу только не запусти…»

Накануне свадьбы познакомил Нину с Мариком. Ждал, что тот будет смотреть на Нину, и хотел, чтобы Марик смотрел, чтобы увидел, какая она красивая. Марик же, хоть на Нину и взглядывал, больше смотрел на него самого. С каким-то радостным изумлением. И Григорьев понял: да, только вчера были шестьдесят третий год, пляжи на заливе, дурашливая болтовня, детство. И вот – он женится, первым уходит во взрослый мир.

От Димки пришло письмо: громадные буквы «ПОЗДРАВЛЯЮ» и целый лес восклицательных знаков.

День свадьбы, высший миг его торжества, остался в памяти бело-голубым ожогом фотографической вспышки: мраморные лестницы дворца и парадный зал, Нина в снежно-искрящемся платье с фатой, цветы, мелькание лиц – родных, знакомых, полузнакомых; подвыпивший отец с поднятой рюмкой, смеющиеся губы Нины, приближающиеся под крики «Горько!». И вслед за щелчком фотоаппарата – мгновенный провал в темноту…

Нине было больно. Опять солгали книги, солгали все поэтичные описания первой ночи и восторгов мужчины, благодарного своей возлюбленной за ее «чистоту». Солгали рассказы приятелей («Сперва охала, а потом выпускать меня не хотела!»). Он и представить не мог, что его самые осторожные движения будут причинять ей такую страшную, разрывающую боль. Она лежала распятая. Нагота ее, белеющая в темноте, лепная нагота богини, о которой он столько мечтал, казалась жалкой, а запрокинутое лицо с черным провалом рта приводило в отчаяние.

Перепуганный, он бормотал «Прости, прости!..», осыпал виноватыми поцелуями ее плечи и грудь. Она покорно шептала: «Ничего, я потерплю!» Но стоило ему, боязливо и бережно, сделать усилие, чтобы проникнуть в нее, как всё повторялось: вскрик страдания, его умоляющее «Прости, прости!» и ее обреченное, безнадежное «Ничего, ничего, я потерплю…»

Потом, лежа рядом с ней и всматриваясь в ночной блеск ее заплаканных глаз, он говорил ей о своей любви и благодарности. Нежные слова, которые он выдыхал шепотом, смешивались с ее дыханием. Он словно заговаривал не только ее затихающую боль, но и собственный страх. Чего он боялся? Должно быть, ее ненависти или отвращения, того, что казалось самым худшим.

И в следующие несколько дней он радовался тому, как быстро прошла ее подавленность, возвратилось к ней привычное спокойствие, начали звучать в словах, обращенных к нему, знакомые, чуть снисходительные нотки. Радовался, пока не осознал, что это как раз и есть самое худшее: всё вернулось на круги своя…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.